

**МАРК
АЛДАНОВ**

НАЧАЛО

КОНЦА

Марк Алданов

Начало конца

«Public Domain»

Алданов М. А.

Начало конца / М. А. Алданов — «Public Domain»,

ISBN 978-5-699-53731-0

Марк Алданов – необыкновенно популярный писатель XX века, за которым сразу после появления его произведений закрепилась репутация одного из самых талантливых писателей своего времени, автор исторических романов, столь любимых многими читателями. В. Набоков дал емкое определение поэтики М. Алданова: «Усмешка создателя образует душу создания». Роман «Начало конца» рассказывает о трагических событиях в Западной Европе и России 1937 г. и гражданской войне в Испании. Впервые в художественной литературе Алданов подвел итог кровавым событиям 1937 года, заговорил о духовном родстве фашизма и коммунизма. Проклятые вопросы 30-х годов, связь ленинских идей и сталинских злодеяний, бессилие и сила демократии – эти вопросы одни из важнейших в романе. Устами одного из своих героев Алданов определил, что русские революционеры утвердили в сознании нравственность ненависти; в основе мизантропических построений теоретиков Третьего рейха русский писатель увидел сходное оправдание ненависти, только ненависти арийцев к неарийцам. Книга издается к 125-летию писателя.

ISBN 978-5-699-53731-0

© Алданов М. А.

© Public Domain

Содержание

Начало конца, или Пятая печать	5
Часть первая	20
I	20
II	24
III	29
IV	36
V	40
VI	49
VII	56
VIII	63
IX	67
X	72
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Марк Александрович Алданов

Начало конца

Начало конца, или Пятая печать

Алдановым зачитывались. Один из его друзей, писатель Борис Зайцев, рассказывает: они с женой разодрали новую книгу Алданова, чтобы читать наперегонки. В Советском Союзе его книги были под запретом, но в других странах их перевели на 24 языка, включая даже бенгали. В США есть престижная премия – выбор Клуба книги месяца. Книга-лауреат оказывается в центре внимания, ее рекламируют, ей обеспечены громадные тиражи, портреты автора появляются на первых полосах газет. Этой награды был удостоен Алданов, когда в переводе на английский в разгар войны появился его роман «Начало конца» – тот, что сейчас перед вами, читатель. Следующий роман, «Истоки», был премирован Книжным обществом Великобритании. Иван Алексеевич Бунин много лет подряд выдвигал его на Нобелевскую премию.

Они познакомились в Одессе в 1919 г. перед эмиграцией и сразу же подружились, несмотря на разницу в возрасте – Алданов был на 16 лет моложе. Кажется, история русской литературы не знает такой многолетней – на всю жизнь без единой размолвки – верной, преданной дружбы. «Этому человеку я верю больше всех на земле», – говорил Бунин. Алданов признавал Бунина писателем более крупным, чем он сам, но и Бунин, не щедрый на комплименты, его прозу оценивал чрезвычайно высоко. Из письма Бунина Алданову от 11 октября 1945 г.: «Недавно перечитывал (уж, верно, в третий или четвертый раз) «Могилу воина». До чего хорошо!» Из письма от 15 апреля 1950 г. (Бунин перечитывает роман «Пещера»): «Точность, чистота, острота, краткость, меткость – что ни фраза, то золото. Да хранит Вас Бог, дорогой мой».

До получения Буниным Нобелевской премии его семья бедствовала. Алданов организовывал бридж с участием парижских богачей – весь выигрыш в пользу Буниных. В разгар войны, едва союзные войска высадились во Франции, Алданов начал слать ему бесконечные продовольственные посылки. После войны – Бунин очень стар и беден – много раз предпринимал для него сбор средств.

Кажется, история литературы не знала прежде случая, чтобы один крупный писатель опубликовал свое произведение за подписью другого. В жизни Алданова и Бунина такой эпизод был. В 1949 г. приятель Бунина Александр Рогнедов обратился к Алданову с необычной просьбой. Для сборника, который он, Рогнедов, готовит для публикации в Испании, Бунин предоставил рассказ, но его невозможно по цензурным соображениям напечатать. Сроки поджимают, имя Бунина анонсировано, а писатель, увы, болен. Не напишет ли по старой дружбе «артикл» за подписью Бунина Алданов?

Алданов не обескуражен неожиданным предложением, но боится, что Бунин обидится: «Вероятно, даже наверное, он на меня очень рассердился бы, а я на это идти не могу. Со всем тем не могу отказать Вам в услуге – тем более что дела Ваши не так блестящи. Поэтому предлагаю Вам следующее. Поговорите Вы с Буниным. Скажите ему, что Вы из-за его болезни не можете да и по условию не имеете права просить написать для Вас что-либо другое, но что, зная мою любовь к нему, Вы надеетесь, что я соглашусь бесплатно написать небольшую статейку, чтобы он ее подписал: Вам его имя необходимо. Боже Вас избави, не говорите ему, что Вы мне это уже предложили и что я согласился. Нет, скажите ему именно, что Вы надеетесь».

Долго искали Алданов и Рогнедов тему «артикла», в конце концов остановились на такой: «Русский Дон Жуан» – о том, как трактовали этот образ Пушкин и Алексей Константинович Толстой. Алданов написал быстро, за неделю, и Рогнедов рассказывал ему в письме: «Иван

Алексеевич прочел, хитро улыбнулся и подписал. Я спросил из вежливости: «Исправлений не будет?» Он снова хитро взглянул на меня и проворчал: «Ну вот еще! Он пишет так хорошо, что не мне его исправлять...»

Этот эпизод ярко характеризует литературные нравы эмигрантов первой волны – благородство в их среде было не исключением, а обычным явлением. И по-новому освещает личность Алданова, не только крупного писателя, но и великодушного человека.

Он прожил 70 лет, которые делятся на две равные части, первые 35 – поиск своего призвания, вторые – напряженный творческий труд. Марк Александрович Алданов (настоящая фамилия – Ландау) родился в 1886 г. в культурной киевской семье, его отец – сахарозаводчик. Получил разностороннее образование, имел три диплома: химик, юрист, социолог, владел шестью иностранными языками. Первый опубликованный труд после окончания университета – научная работа по химии, второй, напечатанный в начале Первой мировой войны, предвосхищает Алданова – романиста: книга посвящена творчеству «величайшего из великих», Л.Н. Толстого. В 1918 г. Алданов, резкий противник Ленина, – секретарь думской межпартийной делегации, отправившейся на Запад просить денег и оружия для борьбы с большевиками. Поездка была неудачной, никто не хотел ввязываться в русские дела. Вернувшись в Петроград, Алданов узнал, что новая книга его публицистики, «Армагеддон», изъята. Основу книги составляли язвительные параллели революционных ситуаций разных времен, обсуждение удивительного сходства царей и королей с революционными вождями. О революции писали тогда по-разному, одни восторженно, другие с ненавистью, но только Алданов с иронией.

Какая судьба ждала бы его, если бы он не уехал? Печальная, наверное. Он уехал в марте 1919 г. в Константинополь (плыл одним пароходом с А.Н. Толстым), оттуда в Париж. Думал, что расстанется с родиной на несколько месяцев. Оказалось, навсегда.

Через 20 с лишком лет, в конце 1940-го, он снова был вынужден бежать в другую страну, на этот раз из оккупированной Франции в США. В обоих случаях ехал не просто спасать свою жизнь, ехал делать свое дело, служить своим идеям. В Париже стал одним из учредителей-редакторов первого, просуществовавшего всего несколько месяцев эмигрантского журнала «Грядущая Россия». В 1942 г. стал одним из основателей «Нового журнала», призванного заменить лучший предвоенный эмигрантский журнал, парижские «Современные записки». В обоих случаях редакторская деятельность Алданова была непродолжительной, но плодотворной: проявилось его умение объединять разных людей, дипломатическое мастерство, широкий взгляд на историю, политику, литературу.

Это был один из самых эрудированных людей предвоенного поколения, он работал не только в литературе и публицистике, регулярно выпускал научные труды по химии. Современники свидетельствуют, что по складу своего характера и взглядам он был человеком науки – научность распространялась даже на сферу его чувств. Выбрал для своего художественного творчества исторический жанр, и этот жанр тесно с наукой связан: историк описывает время, исторический романист – людей, живших в это время.

Никогда не писал «из головы», прочно опирался на документы. Георгий Адамович рассказывает: однажды он случайно спросил Алданова, откуда в его повести «Могила воина» взялась такая деталь – у императрицы Марии-Луизы попугай с голоса Наполеона заучил фразу «Marie, je t'aime». Алданов сразу же назвал источник, но предупредил, что фразу придумал он сам, в источнике значилось, что попугай повторял какую-то наполеоновскую фразу. Писатель не был уверен, имел ли он право на такую пустяковую вольность!

Отличался феноменальной памятью, помнил исторические здания разных городов, гербы аристократических фамилий, перипетии забытых битв. Как правило, историки бранят писателей за промахи. Маститый профессор А.А. Кизеветтер, рецензируя роман Алданова «Чертов мост», подчеркнул: «Здесь под каждым историческим силуэтом вы смело можете поставить: «С подлинным верно».

Роман «Чертов мост» и философская повесть «Могила воина» входят в «серию» Алданова из 16 романов и повестей, охватывающих двести лет русской истории от Петра III до Сталина. Серия – дело его жизни, уникальное по масштабности историческое полотно. Его главная тема – связь времен. Каждая книга в серии самостоятельна, но их объединяют общие действующие лица (или их предки и потомки) а кроме того, различные предметы, переходящие от поколения к поколению. Алданов – превосходный стилист, но изящество его слога не бросается в глаза: ясные фразы, лучшие слова в лучшем порядке, умело выверенный ритм повествования. Композиция линейна, нет переносов из одного времени в другое, нет наплывов, повествование прозрачно. Чтобы читательское внимание не рассеивалось, автор разбрасывает по тексту своеобразные загадки, дает иноязычные вкрапления без перевода, цитаты без указания источников, упоминает забытые имена, понятия, чтобы читатель не пожалел времени, полез в справочник. Книга должна пробуждать интерес к другим книгам.

Изображая в серии события прошлого и настоящего, писатель воплощал свою оригинальную философию истории: нет никаких предопределенностей, нет поступательного развития общества, нет прогресса, «пулемет заменил пищаля, вот и весь прогресс с XVI века». Начиная с Загоскина, Лажечникова, исторические романисты воспевали поступок, деяние, занимались утверждением бытия. Алданов же воплотил мироощущение эмигранта: история целей событий не знает и знать не может, от дел даже самых крупных полководцев и политиков спустя несколько десятилетий не остается ничего.

Любимейшим писателем Алданова был Толстой. Современник свидетельствует: «Он произносил эти два слова «Лев Николаевич» так же, как люди верующие говорят «Господь Бог». «Войну и мир» считал едва ли не лучшей книгой всех времен и литератур. Вместе с тем не разделял исторического детерминизма Толстого, был убежден, что историей правит Его Величество Случай. Волей случая на исторический Олимп то и дело попадают глупцы, порою преступники, а люди умные и порядочные крайне редко.

Многими нитями книга Алданова связана с русским историческим романом XIX века. Из него заимствованы отдельные сюжетные мотивы, к нему восходят реминисценции. Внутривитературность, однако, не свидетельство слабости таланта писателя, а осознанная эстетическая позиция. Современник Вердена, Соловков, Хиросимы, Алданов по-новому пересматривает известные события русской и мировой истории. Размышляя о культурной традиции, сталкивая героину и будни, он, по существу, остается в кругу вечных тем, но трактует их по-своему: подчеркивает хрупкость цивилизации, бессилие человека перед лицом исторических событий.

Этот горький мотив контрастирует с внешней легкостью занимательного повествования. Дебют Алданова в художественной прозе состоялся во Франции в 1921 г., и сразу же писателя заметили. К столетию со дня смерти Наполеона он приурочил публикацию своей повести «Святая Елена, маленький остров». Наполеон в ней совсем иной, чем в эпопее Толстого: печальный больной человек и вместе с тем личность крупная, незаурядная. Язвительный автор менее всего хотел бы, чтобы читатель жалел его героя или безоглядно восхищался им. Наполеон по ходу действия мошенничает, играя с девочкой в карты, а когда умирает, малаец Тоби, слуга, отказывается верить, что умерший «раджа» – великий завоеватель: он точно знает, что великим завоевателем по праву можно назвать только одного Сири-Три-Бувана, знаменитого джангди царства Мекенбау. «Алданов очень умен, остер и образован. У него тонкий гибкий ум, склонный к парадоксам и рассудочному скептицизму», – единодушно решили критики. Последующие произведения писателя подтвердили такой взгляд.

В его творчестве слились воедино две традиции литературы, русская, с ее проклятыми вопросами, стремлением найти высшие нравственные ценности, логику истории, смысл человеческого бытия, и западноевропейская, которая ставит во главу угла безупречность формы, изящество слога и психологических характеристик, оригинальное построение сюжета.

Алданов свободно владел французским языком, большая часть его пути в литературе прошла во Франции. Он мог бы писать по-французски, иметь более широкий круг читателей, но предпочел трудную участь писателя русскоязычного. Тема России звучала в каждой его книге, но он писал не об этнографической России, а об исторической стране великих ученых, государственных мужей, проспектов, дворцов и университетов. Признавался в 1952 г. в одном из писем: «Эмиграция даже в смысле физического здоровья очень тяжелая вещь и изнашивает человека. О моральном и интеллектуальном изнашивании и говорить не приходится. Я по крови не русский, но думаю, что, если бы я еще раз мог увидеть Россию, особенно Петербург и Киев (где я родился и провел детство), то это удлинило бы мою жизнь – говорю это без малейшей рисовки, без сентиментальности и, думаю, без преувеличения».

Круг его знакомств был чрезвычайно широк, и его огромная переписка – настоящий кладезь для историков эмиграции. Среди его корреспондентов Михаил Чехов и Георгий Иванов, Деникин и Кускова, Шагал и Репин. С величайшей аккуратностью собирал и хранил полученные им письма вместе со своими ответами, ответы печатал на машинке в двух экземплярах. Перед смертью 10 000 писем передал в архив. Переписка почти не касалась повседневного быта, она сосредоточена на темах России, русской культуры, судеб эмиграции.

А в истории его более всего интересовали войны, революции, перевороты. В 20-е годы его главной темой была эпоха французской революции, затем он перешел к революции русской. Романы «Ключ», «Бегство» и «Пещера» рисуют группу петербургских интеллигентов на фоне быстро меняющихся исторических декораций. В «Ключе», детективе без ответа на вопрос, «кто убийца», дана предыстория Февральской революции, отношение автора к героям осуждающе-ироническое – трехсотлетнюю империю погубили, утверждает он, общественное своекорыстие и безразличие к судьбам страны. В романе «Бегство» под воздействием грозных событий Октября в персонажах пробуждается гражданское начало, действие сосредоточено вокруг одного из антибольшевистских заговоров. В «Пещере» знакомые действующие лица предстают еще в одном обличье – теперь это тяготящиеся чужбиной эмигранты начала 20-х годов, неприкаянные и разобщенные.

Так получилось, что отдельное издание «Пещеры» увидело свет в Германии при Гитлере в середине 1930-х. Власти страны вскоре спохватились, начали жечь книги Алданова на городских площадях. Тогда же Алданов решил, что его следующий роман будет не о событиях прошлого, а на остросовременную тему. На раннем этапе работы было найдено название: «Начало конца». Когда автор будет его дописывать, война уже будет идти, и название книги он будет в письмах друзьям расшифровывать так: «начало конца культуры и свободы», «начало конца мирной передышки между двумя войнами». В 1942 г., готовя английский перевод для издания в США, Алданов даст роману новое название «Пятая печать».

А пока что, в 1936-м, название «Начало конца» звучит вполне злободневно, темы автору подсказывает газетная хроника.

...«Одну Россию в свете видя, преследуя свой идеал», Алданов впервые в эмигрантской прозе избирает героями романа советских людей, раскрывает их внутренний мир, утверждает, что никакого «нового советского человека» в природе не существует, да и нелепо надеяться переделать человеческую природу всего за двадцать лет.

...Знаменитый французский писатель Андре Жид отправился в творческую поездку в Советский Союз. Чем обернется для него дружба с коммунистами?

...Русский эмигрант Горгулов был судим во Франции за убийство президента страны и приговорен к казни. Размышляя о его судьбе, Алданов вспоминает «Преступление и наказание», роман Достоевского.

...На стороне республиканского правительства Испании в гражданской войне участвуют военнослужащие Красной Армии. Хорошо это или плохо для России?

Современные романы Алданов строил иначе, чем исторические – в них нет реально существовавших личностей, одни только вымышленные герои, сюжет, хотя и навеян реальными событиями, в сущности, плод свободной фантазии автора. Редакция журнала «Современные записки» заключает с писателем договор: новый роман будет печататься «с колес», на протяжении нескольких лет он должен будет к каждому очередному номеру давать следующий фрагмент. «Современные записки» выходили как ежеквартальник, у писателя было три месяца, чтобы подготовить очередной 50 – 70-страничный отрывок. Такой договор, позволяя писателю и его семье длительное время существовать безбедно, в то же время создавал для него серьезные технические сложности. Писать приходилось быстро и каждодневно, сразу набело, в прямом порядке, переделать предыдущую главу и воплотить вновь найденное творческое решение не представлялось возможным. В памяти или на бумаге автор должен был держать подробнейший план и всего произведения, и каждой главы в отдельности, заранее определив, какие будут использованы документы и материалы, каких философов или поэтов будут цитировать персонажи, какие будут темы их споров и разговоров, какими аргументами они воспользуются. Последовательность эпизодов в многоплановом повествовании, возраст, характер, внешность, привычки каждого из действующих лиц – все это нужно было обдумать в деталях, перед тем как начать писать. Алданов вспоминал слова Расина о его «Федре»: «Федра» уже готова, ее осталось только написать».

Впервые Алданову приходилось в романе гнаться за днем бегущим, идти по горячим следам событий. Жизнь то и дело вносила коррективы в замысел. Вот два документально подтвержденных отступления писателя от первоначального замысла, одно связано с творческими причинами, другое вызвано внешними обстоятельствами.

...По ходу действия немецкий публицист-эмигрант продает документальную рукопись – своего рода пародию на «Майн кампф» Гитлера, написанную его бывшим единомышленником. Эту рукопись автор собирался включить в роман в качестве вставной главы, и ее текст сохранился в черновой редакции. К тексту прикреплен листок с напутствием самому себе: «Писать вульгарно, хлестко». Вскоре, по-видимому, убедился, что вульгарный, хлесткий текст романа не украсит, а тема утратила актуальность. В окончательном варианте вставная глава отсутствует.

...Из письма Алданова М.А. Осоргину от 13 августа 1940 г. узнаём, какая незадача его постигла во время бегства из Парижа перед вступлением в город немецкой армии: Алданов с семьей, взяв только самое необходимое, отправился пригородными поездами с шестью пересадками на юг Франции. Рукопись только что законченного эпизода «Начала конца» лежала в кармане его пальто, пальто он оставил родственнице, а сам пошел в кассу за билетами. И родственница потеряла рукопись! Восстановить текст по памяти оказалось невозможным, в тексте обсуждали редкостные старинные книги, которых нигде, кроме парижской Национальной библиотеки, достать было нельзя. Пришлось писать главу заново и на другом материале: герои слушают по радио из Лондона «Реквием» Моцарта, и он созвучен их настроениям.

Четыре центральных персонажа романа люди пожилые. Это излюбленный алдановский тип, только такие у него умны и достойны внимания – многого добившиеся в жизни, подводящие итоги, размышляющие о собственном начале конца. На старости лет, в канун войны таким только и остается, что комментировать события, а не воздействовать на их ход. Вместо старого афоризма «после нас хоть потоп» звучит новый: «мы еще покатаемся на волнах потопа».

Контакты советских людей с «буржуазным Западом» в эпоху 1937 г. были сведены до минимума. На Западе могли оказаться, и только по служебной надобности, лишь немногие избранные. Персонажи, выбранные Алдановым, люди, близкие Кремлю: один из них крупный военный деятель, в прошлом царский генерал, ныне командарм, человек больших заслуг перед советской военной наукой, двое других – видные члены партии с дореволюционным стажем, один в эмиграции близко знал Ленина, другой, недавно назначенный полпредом, имел перед

отъездом аудиенцию у Сталина. Представители советской элиты, казалось бы, должны были быть не просто лояльными власти, они принадлежат к тем кругам, где вырабатывается внутренняя и внешняя политика страны, где принимаются судьбоносные решения, они и есть сама власть. На самом деле все обстоит совершенно иначе.

...Человек «с фамилией, похожей на псевдоним», бывший царский генерал Константин Александрович Тамарин перешел на сторону большевиков, стал военспецом вскоре после революции – «нужно было жить». Убедил себя, что России можно служить при любом режиме. Подчеркнуто держался в стороне от политики, весь был в научной работе, его исследования роли моторизованных частей в современной войне получили международное признание. Тамарин – анахорет, сторонился новых знакомств, был со всеми учтив и благожелателен, несколько старомоден. К чужим научным работам относился корректно, заключения давал по совести, «если только не было совершенно необходимо лгать». Образ нарисован с большой симпатией. Некоторые черты характера героя Алданов подглядел у своего доброго знакомого, генерала-эмигранта Антона Ивановича Деникина, с которым состоял в переписке. Но, в отличие от Деникина, его Тамарин сражается под чуждыми ему красными знаменами – отсюда страх и стремление постоянно оправдаться перед самим собой. «Кажется, мы ничего эдакого не говорили?» – терзается после того, как узнал, что за соседним столиком в парижской кофейне сидел белогвардеец. Посланный в командировку в Испанию, утешает себя: «Миссия чисто военная, никакого отношения к ГПУ и ко всему такому...» Мучается, что прожил жизнь не по совести, забыл о чести мундира.

...Советский посол в очень давние времена, в пору первой русской революции примыкал к меньшевикам, после пресловутых большевистских «экспроприаций» напечатал за границей памфлет-статью «Опомнитесь, бесстыдники!». Казалось бы, давний грех ему властью прощен и забыт, у него устойчивая репутация одного из лучших партийных экономистов, он недавно получил высокое назначение по дипломатической линии. Но идет страшный 1937 год, и кто из самых преуспевших может по ночам спать спокойно? Этикет требует, чтобы в телефонном разговоре с Москвой он осведомился о здоровье наркома. А вдруг нарком уже впал в немилость – тогда жди беды. Влюбился на старости лет в девчонку – опять-таки жди персонального дела. С окружающими придерживается линии: большой роялист, чем сам король. Не дисциплина, не повиновение начальству, а умение быть всегда внутренне с ним согласным. «То, что мне кажется белым, я должен считать черным, если таково иерархическое определение предмета». В момент духовного кризиса открывается ему: он никогда не служил партии, а вместе со многими делал с ее помощью карьеру.

...Наконец, последний из алдановской троицы – профессиональный революционер, связанный с ГПУ и Коминтерном, не то македонец, не то хорват, а может быть, далматинец, получил образование в России, лишь виднейшие члены партии знали его биографию, и никто не знал настоящей фамилии. Выступает он под «несерьезным» псевдонимом Вислиценус. У советского посла, о котором говорилось выше, тоже псевдоним – Кангаров-Московский. Кангаров-Московский – это звучит гордо, представляется сразу человек карьеры, обладатель высокого поста, удачник судьбы. (Член ЦК, академик, автор теоретических статей о партии и рабочем движении в газете «Правда» и журнале «Большевик» подписывался: Емельян Ярославский.) Вислиценус – звучит как-то неопределенно и по-заграничному. Вряд ли кто-нибудь вспомнит средневекового алхимика Вислиценуса. Чтобы внушить читателю, что герой, выступающий под этим псевдонимом, тоже причастен к тайному знанию, автор при первом его появлении на страницах романа поминает пугающую шуточку про сослуживца – «товарища палача». Раздражителен, агрессивен, язвителен.

Легкораним, знает: ему осталось жить совсем немного.

Очень умен, и в его уста Алданов вкладывает собственные мысли о Ленине и Сталине, о Гитлере, о точках соприкосновения фашизма и коммунизма.

По складу своего дарования Алданов прежде всего публицист. Индивидуальное начало в персонажах, диалектика души, нюансы настроений и взаимоотношений его, кажется, не особенно интересовали, но мало кто из русских писателей мог с ним сравниться в искусстве несколькими штрихами рельефно воплотить эпоху, найти ее самые выразительные приметы, связать с прошлым и будущим. Когда советская власть делала только первые шаги в России и цензура еще не была всемогущей, он в книге «Армагеддон» предложил свой парадоксальный вариант ответа на вопрос: «Для чего нужен Ленин? – Для торжества идеи частной собственности». Книгу тотчас изъяли, ему самому пришлось эмигрировать. На первый взгляд, формула нелепа: Ленин противник частной собственности. Но присмотримся внимательнее: Алданов декларирует, что никакое общественное и экономическое развитие страны вне принципа частной собственности невозможно, и спустя десятилетия эта точка зрения возобладала, утвердилось в обществе.

«Начало конца» – роман, а не политический трактат, но едва ли не самые важные для автора страницы – это внутренний монолог его Вислиценуса на тему: в чем состояла «ошибка комбинации», где было слабое звено в построениях Ленина, планировавшего переход от несправедливого общественного уклада к справедливому посредством революционного насилия. Глава XI первой части начинается эмоциональной сценой воспоминаний Вислиценуса о Ленине. Сидя в парижской кофейне, той самой, где он когда-то играл с Лениным в шахматы, он его видит вновь живым, и так отчетливо и ярко, как никогда его не могла изобразить официальная советская «лениниана». Вспоминает старых товарищей, полуголодных, смешных, что собирались в кофейне и чуть было не перевернули мир. А потом оказались в могиле или в тюрьме; самые известные были казнены.

По Алданову-Вислиценусу, «ошибка комбинации» заключалась в том, что революционеры утвердили в общественном сознании нравственность ненависти. Сначала шла речь о классовой ненависти пролетариев к капиталистам, бедных к богатым – она в теории провозглашалась временным необходимым явлением, вплоть до победы нового общественного строя, во имя высокой цели. Но затем оказалось, что новый общественный строй без ненависти обойтись не может, что она с годами становится только более сильной и разъедает общественный механизм. После смерти Ленина, читаем в романе, наступила эпоха, лживая насквозь. Был растрочен капитал порядочности, веры, убеждений. По инерции продолжали твердить о светлом будущем человечества, но уже в свои слова не верили. Друг другу тоже не верили, доноительство стало нормой.

Возникло противоречие между теорией и практикой: теория строилась на вере в человека, в его достоинство, в возможность его морального усовершенствования, практика же исходила из предпосылки, что человеку ни в коем случае нельзя доверять, что он глуп и подл и для успеха идеи эти два качества нужно на определенный срок активизировать. Сильные, страшные строки впервые в мировой литературе суммируют опыт кровавой бани 1937 года: «Оказалось, что человеческая душа не выдерживает предельного гнета, которому мы ее подвергли, – под столь безграничным давлением люди превращаются в слизь». Эти слова – образ эпохи постыдных доносов и малодушных раскаяний «несгибаемых» большевиков на показательных процессах. Вислиценус Алданова находит мужество признать перед судом собственной совести: «Мы, когорты политического преступления...»

В основе мизантропических построений теоретиков Третьего рейха русский писатель-эмигрант находит то же самое оправдание ненависти. На этот раз речь шла о ненависти арийцев к инородцам. В определенном смысле, рассуждает его герой, Гитлер вышел из революционной доктрины Ленина. «Мы убеждали немца-рабочего считать себя солью земли, так как он рабочий. Теперь он сошел с ума от радости, что он немец. И если их «философия» также дает людям счастье, какие, собственно, основания предпочитать нашу? (...) Вся наша история в последние годы свелась к схватке кандидатов в атаманы, почти без примеси идеи

или с примесью совершенно произвольной, зависевшей только от обстоятельств. Вот из-за чего пролиты, льются, будут литься потоки крови. Этого не предвидел и Ленин...»

Принято считать родоначальниками антибольшевистского романа на Западе Кестлера и Оруэлла. Чтение Алданова дает основания не только включить его имя в этот ряд, но и отметить: он был первым, авторы «Слепящей тьмы» и «1984» шли по его следам.

В романе, написанном за границей, как тогда выражались, «белобандитом», нет ни любования советскими людьми, ни разоблачения их. Они даны с симпатией, с уважением, но они жертвы обстоятельств. По мере движения сюжета трагические обертоны нарастают. Все три советских персонажа умирают – три трагедии. Только Кангаров умирает от болезни (об этом рассказано в послевоенном романе Алданова «Живи как хочешь»). Тамарин погибает нелепо в Мадриде – при штурме университетской клиники. Вислиценус становится жертвой политического убийства в Париже, до последнего момента терзаясь загадкой, кто охотился за ним, гестапо или ГПУ. Автор подбрасывает читателю цепь намеков – может быть, все-таки ГПУ? Герой, узнав, что смертельно болен, решает бросить все дела, дожить свои дни во французском захолустье, в Каstellане, занимаясь рыбной ловлей. Тут читатель-эмигрант должен был сразу вспомнить о судьбе советских перебежчиков предвоенных лет, их не раз выслеживали и похищали или убивали, например Игнатия Рейса, Федора Раскольников. Но Вислиценус только собирался стать невозвращенцем, никому о своих планах не рассказывал, единственным свидетельством его намерений была покупка снаряжения рыболова. Слежка за ним началась до того, как мысль остаться во Франции впервые пришла ему в голову.

Нить в лабиринте ведет по ложному пути – частый прием Агаты Кристи.

Не только Вислиценус, но и Кангаров, Тамарин, в отличие от героев классики XIX в., не раскрывают своих мыслей, чувств, своих жизненных планов в диалогах. Советскому человеку, по Алданову, приходится постоянно скрывать, притворяться, делать вид. Главным средством проникновения в душу персонажа становится внутренний монолог. В романе уживаются две стихии: диалоги, где герои играют роли, и внутренние монологи, где герои таковы, какие они есть на самом деле. Кангаров терпеть не может Вислиценуса, Тамарин относится к Кангарову с презрением. Всеобщая взаимная неприязнь как норма вещей.

* * *

Другая сюжетная линия романа углубляет авторскую мысль о начале конца. Здесь предмет наблюдения Алданова не изменения в человеческом поведении, обусловленные тоталитарным режимом, а деформации, присущие демократическому строю и связанные с социальным неравенством. Молодой испанец, житель Франции Альвера похож на Родиона Раскольникова, героя Достоевского. Тоже страдает от нищеты, тоже задумывает убийство в целях ограбления, тоже убивает и замести следы не удастся, а далее, как положено, тюрьма, суд, приговор. Но, разумеется, Алданов, большой и оригинальный мастер, не ставил перед собой задачи пересказать сюжет «Преступления и наказания».

Всю свою жизнь он повторял, что Достоевский ему чужд. Критика «Преступления и наказания» содержится, в частности, в статье «Из записной тетради» (1930). Преступление, писал он, рассказано так, что дух захватывает, дано подробно, с предысторией, на сотнях страниц. А при изображении наказания «художественный фокус», каторга показана уклончиво, сдержанно, в небольшом эпилоге. «Достоевский хорошо знал, что такое каторга. Описывать ее здесь по-настоящему значило бы вызвать безнадежную путаницу во всем замысле романа. Наказание стало бы тоже преступлением, и от злополучной идеи «очищения страданием» осталось бы, вероятно, немного. Пришлось бы очистить страданием, – иронизирует Алданов, – и каторжное начальство».

Перенеся коллизию Достоевского во Францию 1930-х годов, он обнаруживает, что юношу-анархиста, замыслившего убить своего работодателя, престарелого буржуа, не волнуют ни духовные, ни нравственные проблемы, что для него лишить другого человека жизни, не оставив улик, лишь интересная техническая задачка, способ самоутвердиться. В своем варианте темы наказания Алданов тоже вполне самостоятелен: герой раскаяния не испытывает, тюрьма и не ставит задачи его перевоспитать, он как бы отрешенно идет на казнь. Казнь как единственная убедительная развязка сюжетной линии.

Историей Альвера Алданов напоминал читателю об эпизоде французской политической жизни, незадолго перед тем всколыхнувшем русскую колонию. Публичной казнью, гильотинированием закончился в 1932 г. жизненный путь иммигранта из России Горгулова. Он смертельно ранил во время предвыборной кампании тогдашнего президента Франции престарелого Поля Думера. Тут же был пойман, вскоре судим, и суд, не найдя причин для снисхождения, приговорил его к смерти. Как и алдановский Альвера, он тоже не мог внятно объяснить мотивы своего преступления. «Был обозлен на весь мир», – свидетельствовали журналисты. Газеты называли его вырождаком, а правые выступили с нападками на русскую колонию во Франции – вот-де как нам платят за гостеприимство! Дав парафраз недавней нашумевшей истории, Алданов получил возможность затронуть в романе волновавшие его социально-политические темы: трудность адаптации на чужбине, аморальность смертной казни, еще большую аморальность казни публичной.

Тональность рассказа об Альвера по ходу действия меняется. Вначале читателя приглашают посочувствовать бедняку, с трудом сводящему концы с концами, живущему на чердаке в чужой стране. Затем автор несколькими выразительными штрихами отгораживает своего молодого героя от идей гуманизма и доброты, и уже не удивляет, как легко и хладнокровно тот решается на убийство. Сцена преступления идет кинематографически быстро и весело под модный шлягер про бразильца и перчаточницу. Но начиная с момента ареста Альвера, связь повествования с канонами массовой культуры отброшена, тюрьма, следствие, суд даны в сухой, сжатой документальной манере, обыденность, даже банальность происходящего с героем в тюрьме педалируются. Ни капли раскаяния в содеянном, ни капли сострадания к убитому им человеку. Перерыв монотонности – неудачная попытка героя покончить с собой.

По контрасту писателю требовалось найти необычные броские краски для изображения казни. Оригинальность выбранного им творческого решения состоит в том, что сцены казни в романе нет, вместо нее «художественный фокус». Изображен защитник Альвера, мэтр Серизье, в ночь перед приведением в исполнение приговора. Он страдает бессонницей, ранним утром должен будет отправиться к версальской заставе, где произойдет казнь, а пока что в уютной спальне достает с полки чистенький том, ученую работу с подробным описанием того, как устроена гильотина, как потом поступают с трупом и вещами казненного. Засыпает над книгой, а когда просыпается, обнаруживает, что опоздал. Автор подсказывает читателю: у него не хватило сил написать сцену казни, казнь ужасна, от нее необходимо современному обществу отказываться.

* * *

Две сюжетные линии, советских людей на Западе и Альвера, в романе не имеют точек соприкосновения. Чтобы объединить их в художественное целое, автор, знаток искусства композиции, ввел в повествование героя, который связан и с первой, и со второй: знаменитого французского романиста, человека левых убеждений принимают охотно в советском посольстве; Альвера работает у него секретарем.

Перед тем как Бунин в 1933 г. был удостоен Нобелевской премии, Алданов, свидетельствуют современники, проделал серьезную подготовительную работу: разослал крупным

западным деятелям литературы и искусства письма, в которых просил (призывал) их публично высказаться в поддержку кандидатуры своего соотечественника и друга. Он получил несколько десятков разных по содержанию и форме ответов и, рассматривая их, задумался над психологией западного интеллектуала-гуманиста, который, долгое время оставаясь «над схваткой», в конце концов делает свой политический выбор. Его Луи Этьенн Вермандуа, остро слов, эрудит, лучшее украшение литературных салонов, в начале романа друг Советского Союза, собирающийся вступить в коммунистическую партию. К концу романа основополагающие труды классиков марксизма-ленинизма ему представляются философией кухарок, он декларирует, что нет разницы между «человеком с усиками» и «человеком с усами». Финальная сцена романа, где Вермандуа в разговоре с Кангаровым-Московским в резкой форме, гневно отказывается послать в Москву телеграмму в поддержку «показательных процессов», навеяна эпизодом из жизни Андре Жида, автора «Фальшивомонетчиков», впоследствии Нобелевского лауреата.

В 1936 г. Жид был приглашен в Советский Союз. Его принимали, что называется, по высшему разряду: был удостоен чести выступить на траурном митинге на похоронах Горького, ездил в Сочи навещать прикованного к постели Н. Островского. Но когда возвратился домой во Францию и опубликовал о своей поездке книгу очерков, выяснилось: не от всего увиденного он в восторге, позволяет себе и некоторые упреки в адрес увиденного. Это сразу же вызвало бурю негодования в Москве. Начатое изданием собрание его сочинений тут же приостановили, «Литературная газета» аттестовала его как наймита мировой буржуазии. Алданов находился в переписке с Андре Жидом, встречался с ним, следил за случившейся с ним историей. Впоследствии с большой симпатией изобразил Жида в очерке «Конец группы Понтины».

И в то же время Вермандуа отчасти автопортрет писателя. Задумывая новый роман «из древнегреческого быта», для вдохновения Вермандуа достает с книжной полки два классических исторических романа почему-то из эпохи французской революции – «Девяносто третий год» Виктора Гюго и «Боги жаждут» Анатоля Франса. Вермандуа эти книги совершенно далеки по теме, но, несомненно, обе живо волновали самого Алданова, создателя романа «Девятое термидора». Оба, Вермандуа и Алданов, подрабатывают в газетах очерками о политических знаменитостях; первый пишет очерк об Идене, второй несколькими годами ранее опубликовал очерк о Черчилле. Собираясь встретиться с Алдановым осенью 1940 г. в Ницце, Бунин подготовил заранее листок, где колонкой были выписаны ряды фраз из романа «Начало конца», – рассказывает мемуарист Александр Бахрах. Он начинает не без иронии убеждать Алданова, что Вермандуа – автопортрет: «Подумайте только, Марк Александрович, Вермандуа, вы сами пишете, «цитировал сто тысяч человек», а вы? «вежливость была в его природе», а у вас? «грубые рецензии приводили его в раздраженное недоумение», а вас?(...) А дальше ваш Вермандуа говорит: «Но ведь весь смысл жизни в писательском призвании, вся ее радость». Ведь все это ваши собственные переживания, – настаивал Бунин, – да и вы, родись вы французом, расхаживали бы в зеленом академическом фраке и были бы «бессмертным».

Алданов, по словам мемуариста, отрицал автобиографичность своего героя и, возражая Бунину, настаивал, что в его романе Вермандуа если не коммунист, то салонный «большевик», а этого достаточно, чтобы отбросить мысль о тождестве писателя и героя. Но на деле, считает Бахрах, Бунин был прав, предполагая, что отличия даны лишь для отвода глаз и по сюжетной надобности.

Алданов любил повторять, что ни один его вымышленный персонаж не списан с одного конкретного прототипа, каждый – собрание черт и деталей, заимствованных у разных лиц. Казалось бы, писателю угрожала опасность механического соединения случайных красок на палитре, неорганичности персонажей. Но на деле он эту опасность предвидел, умел ее избежать, и его Вермандуа может служить примером внутренней цельности. В этом ключе рассматривал характер Г. Адамович, считавший, что герой и человечен, и многогранен: «Без рисовки, без вызова он говорит то, что кажется ему нужным и верным, а как это будет принято – дело

для него второстепенное. Если признать, что человек ценен сам по себе, а не только в качестве материала или орудия, важно и интересно всякое его состояние, тем более такое, когда он создает пустоту своей жизни, когда уже поздно что-либо в этой жизни исправлять, когда он ищет объяснения или утешения не для себя только, а для всех (когда он всем существом своим подведен к тому, чтобы понять смысл толстовских слов: «после глупой жизни придет глупая смерть»). Вермандуа – не пророк, не гений, не потрясатель основ. Он умный человек, но по своему духовному складу человек обыкновенный и имеет мужество этого не скрывать (...) После главы о Вермандуа из «Начала конца» попробуйте сразу перейти к любому современному роману, самому блестящему, самому искусному, искрящемуся, ослепительному как фейерверк – невозможно читать, книга валится из рук, скучно, неинтересно, все мимо, все впустую...»

Избрав героем писателя-эрудита, Алданов, казалось бы, должен был вложить в его уста целый фейерверк афоризмов о литературе. Но и здесь он поступает неожиданным образом: единственный пассаж Вермандуа о классике смешон. Он говорит, что Римский-Корсаков, создатель оперы «Моцарт и Сальери», был введен в заблуждение невеждой-либреттистом, утверждавшим, будто Сальери – отравитель. Что этот «либреттист» – Пушкин, герой-француз не знает, и это ему извинительно. Однако, чтобы неискушенный читатель не заподозрил автора в неуважении к великому поэту, особенно в атмосфере недавнего пышно отмеченного пушкинского юбилея, Алданов тут же связывает судьбу своего командарма Тамарина с провидческими строками из стихотворения Пушкина «Родриг».

В литературе Алданова больше всего волновала русская литература. Отказавшись от мысли сделать рупором своих идей Вермандуа, он избрал на эту роль прежде всего Вислиценуса. Его суждения категоричны, он высказывает мысли, справедливые лишь отчасти. В литературно-критических статьях Алданова – стремление к объективности, взвешенности суждений, для его персонажей характерна заданная односторонность – при том, что они образованные, широко мыслящие, вызывающие уважение читателя. Как и его создатель, Вислиценус не любит Достоевского, видит в нем врага, «замоскворецкого мещанина», упрекает его: прожив «на каторге четыре года, служил им верой и правдой весь остаток жизни». Гоголь, напротив, воспринимается героем как часть собственного духовного мира. О его поэме: «Читал в эмиграции, читал в тюрьме, читаю теперь тут, и всегда с наслаждением, и, разумеется, не оттого, что в ней разоблачаются взяточники и мошенники. Он хотел заклеить и неожиданно «возвел в перл создания» – выражение гадкое, но это так: возвел. Мне все равно, брали взятки или нет его чиновники – хоть каждый из них вышел симпатичнее Костанжогло – но жизнь их была милая, обильная, счастливая и даже поэтическая, и мне при чтении этой книги всегда (...) хотелось жить во времена Чичикова, путешествовать в его бричке, есть в его гостинице поросенка с хреном, заливать фруктовой блины у Коробочки...»

В одной умной и проницательной статье (проф. В.М. Сечкарева), напечатанной в Германии, читаем, что эти и им подобные строки Алданова – Вислиценуса своеобразная пародия на Гоголя, на его любовь к преувеличениям, к нанизыванию слов и подробностей. Нам видится в них только преклонение перед гением и робкая попытка имитировать неповторимый стиль.

Но вот писатель имитирует стиль своих современников, советских писателей, и тут неповторимости как не бывало. «Не психуйте, Станислав Михайлович», – спокойно-повелительно сказала Оля. Карталинский вспыхнул. «Вы раскаетесь!» – произнес он грязным голосом. «Не думаю. Не пришлось бы раскаться вам. Советскому Союзу не нужны такие люди, как вы». В эту минуту дверь моторной мастерской с криканьем растворилась, пропев ласково ноту «ми», и послышался натужный гул самолета». Тема вредительства, с точки зрения жизненной правды, безнадежна, но если у писателя ложен замысел, то наверняка плох и стиль. В Париже в светской беседе Вермандуа шутит: «Вот граф недоволен Сталиным, а может быть, сейчас какой-нибудь неизвестный советский поэт пишет в честь диктатора оду, которая окажется чудом поэ-

зии». Ни одна подобная ода, а их было множество, чудом поэзии не оказалась. 19-летняя секретарша Кангарова Наденька в свободное от служебных занятий время сочиняет для московского толстого журнала рассказ о том, как вредителя со звучной фамилией Карталинский разоблачили. Она размышляет: «В камере районного прокурора, наверное, был портрет Сталина. Что, если, взглянув на это лицо, Карталинский, в порыве душевного раскаяния, перейдет на сторону советской власти!» Сюжет, персонажи, язык – все в рассказе плохо. Примитивность, однако же, скорее способствует успеху, рассказ принят к печати, и поклонник, сообщая ей радостную весть, величает ее теперь: «Наденька Горькая».

Язвительная сатира, сарказм у Алданова соседствуют с изумительными лирическими пассажами, с горькими вечными раздумьями о бессилии писателя перед торжествующим в мире злом – как у Гоголя, как у Булгакова. Одна из самых проникновенных страниц романа – конец первой части: Вермандуа читает Гете. Он, конечно, себя с Гете не сравнивает, но ему приятно думать, что этот навсегда, на весь мир прославленный человек жил почти в такой же обстановке, так же тяготился людьми, так же не мог без них обойтись, так же терпел обиды, так же подчинялся требованиям своего общества. Вермандуа откладывает книгу, пытается думать о том, что мудрость писателя, долг писателя – понятия одинаковые во все времена.

«Делать в жизни свое дело, делать его возможно лучше, если в нем есть, если в него можно вложить хоть какой-нибудь, хоть маленький разумный смысл. Пусть портной шьет возможно лучше, пусть писатель пишет, вкладывая всю душу в свой труд. Не уверять, что трудишься для самого себя, – ведь и он мечтал об огромной аудитории и откровенно советовал тем, кто не ждет миллиона читателей, не писать ни единой строчки. Не задевать предрассудков, по крайней мере грубо, не сражаться ни с ветряными мельницами, ни даже со странствующими рыцарями, если только не в этом заключается твоя профессия политического Дон Кихота, такая же, по существу, профессия, как труд сапожника или ветеринара... Не потакать улице и не бороться с ней: об улице думать возможно меньше, без оглядки на нее, без надежды ее исправить. Но в меру отпущенных тебе сил способствовать осуществлению в мире простейших, бесспорнейших положений добра (...) Жить спокойно, зная, что мир лежит во зле. Радоваться редкому добру, принимая вечное зло как общее правило мира».

После падения Парижа, в Марселе, по пути в Ниццу, Алданов посетил консульство США и обратился с ходатайством о визе. В Ницце поздней осенью 1940 г. он дописывает «Начало конца» и высылает по почте через Португалию в Нью-Йорк текст неопубликованных глав. Хлопоты о визе, а затем о билетах на пароход из той же Португалии затягиваются на несколько месяцев. Алданов пытается убедить также поехать в США Буниных, но безуспешно – Иван Алексеевич болен. В декабре 1940 г. с превеликими сложностями, обычными, впрочем, для военного времени, отправляется в Нью-Йорк. Доберется до места назначения в январе рокового 1941-го.

События 22 июня 1941 г. он воспринял как личную драму. С гордостью повторял в самые трудные первые месяцы войны: «Россия и русская армия проявили и проявляют совершенно исключительный героизм». Он был автором газетного объявления о выходе в Нью-Йорке первого номера «Нового журнала»: «Оставаясь такими же противниками советской власти, какими они не переставали быть с 1917 г., все сотрудники всячески желают России и ее союзникам полной победы». После войны прекратил всяческие отношения с теми, кто сотрудничал с гитлеровцами: «из уважения к памяти замученных немцами людей».

Напечатать отдельной книгой «Начало конца» на русском языке в США или какой-либо другой стране не представлялось возможным: за пределами СССР в мире не оставалось ни одного русскоязычного издательства. Но с апреля 1942 г. в Нью-Йорке, усилиями Алданова, начал выходить «Новый журнал», и заключительные главы романа как самостоятельные отрывки в № 2 и № 3 в нем были опубликованы.

Тем временем один из друзей Алданова, Н. Р. Вреден, впоследствии директор Издательства имени Чехова, уже работал над переводом текста на английский язык. Под названием «Пятая печать» роман был издан авторитетным издателем Скрибнером. В феврале 1943 г., перед тем как состоялась презентация, в Публичную библиотеку, где Алданов работал, с двумя бутылками шампанского явился Вреден и сообщил неожиданную добрую новость: Клуб книги месяца остановил свой выбор на «Начале конца». (Подобной же чести был удостоен роман знаменитого немецкого писателя-антифашиста Т. Манна «Иосиф и его братья».) Алданова буквально засыпали поздравлениями, одно из первых пришло от В.В. Набокова. Эмигрант из СССР Б. Элькин 18 февраля 1943 г. писал из Англии: «Успех пришел, когда кругом все черно и душа не имеет ни минуты покоя. Но этот успех пришел – и это должно, должно дать Вам удовлетворение. Это наш писатель, наш Марк Александрович отличен». Ему вторил профессор Н. Вакар из Бостона, Массачусетс (письмо от 2 февраля 1943 г.): «Позвольте крепко обнять Вас. Не имея на то никакого права, я переживаю это совершенно как мой успех. Все-таки, что ни говорите, это – НАША ВЗЯЛА!» 24 марта, поздравляя Алданова, крупный американский критик Эдмунд Уилсон подчеркивал: «Это, вне сомнения, один из лучших социально-политических романов, написанных в последние годы в Европе».

В десятках газетных и журнальных рецензий роман получил высокую оценку. Но в английской коммунистической газете «Дейли уоркер» критика Алдановым порядков в СССР была в резких выражениях названа несправедливой и неуместной в разгар войны. Солидаризовавшись с этим взглядом, член правления Клуба книги месяца, профессор Колумбийского университета Дороти Брюстер в знак протеста против решения Клуба вышла из правления. Четыре других «судьи» 17 апреля 1943 г. опубликовали в «Нью-Йорк таймс» совместное заявление, в котором подчеркивали, что политический мотив в их решении не присутствовал. Алданов решил принять участие в дискуссии, написал открытое письмо в редакции ряда ведущих газет США, где разъяснил свою позицию: «Никакой политической пропагандой я не занимаюсь, не занимаюсь и антисоветской пропагандой, хотя никогда не скрывал и не скрываю своих антибольшевистских убеждений (...) Если не американским, то уж во всяком случае русским читателям хорошо известно, что с первого же дня русско-германской войны я много раз в статьях высказывал пожелание полной победы России над ее гнусным и отвратительным врагом и пожелание максимальной помощи России со стороны ее союзников. Я выражал также надежду, что под влиянием союза с великими англосаксонскими демократиями в России может создаться более свободный и гуманный строй. Быть может, в Кремле поймут уроки истории».

Политический шум, поднявшийся вокруг «Начала конца» в американской прессе, не только не уменьшил читательский интерес к книге, но даже содействовал его росту. Общий тираж романа в США превысил 300 тыс. экземпляров. Но Алданов был огорчен: многие из «левых», на чью поддержку он рассчитывал, его замысел не оценили. Его успокаивали друзья. Ироничный В.В. Набоков 13 июня 1943 г. писал ему: «Шум, поднятый копытцами коммунистов, скорее приятен». Г.П. Струве, написавший на роман сочувственную рецензию для лондонской газеты «Обсервер», сообщил 31 декабря 1945 г., что, хотя книга и переиздана в Англии, ее в Лондоне невозможно купить: «Не исключена, конечно, возможность, что ее скупило советское посольство: это ведь своеобразный вид бойкота». Михаил Чехов выражал надежду, что роман будет экранизирован (письмо от 30 января 1951 г.).

Последний по времени документ, касающийся «Начала конца» при жизни автора, – это его письмо, написанное за год до смерти (датировано 29 января 1956 г.), читательнице – почитательнице Вечориной – ответ на ее просьбу указать, где она может найти полный русский текст романа: «Мой роман «Начало конца» полным изданием не вышел (по-русски). Он должен был состоять из двух томов, первый появился перед войной (и был немцами конфискован), а второй вообще не появился, так как издательство, выпустившее первый, перестало существовать,

а никакое другое не могло издать второй без первого. Иностранные переводы делались в значительной мере по рукописи».

Прошло три с половиной десятилетия. Распался Советский Союз, появилась новая Россия, она стала открывать для себя имена и книги Набокова, Ходасевича, Гумилева. В 1991 г. в московском издательстве «Правда» увидело свет шеститомное собрание сочинений Алданова. Большая вступительная статья, открывшая первый том, начиналась и заканчивалась цитатами из его «Начала конца». Сам этот роман в шеститомнике отсутствовал – не удалось найти полного авторского текста. Однако же приведенные в статье цитаты свидетельствовали: Алданов – мастер, роман – неотъемлемая часть русской культуры кануна Второй мировой войны.

Началось изучение истории и текста романа. Его первая часть не доставила забот ученым: книжный текст, опубликованный в Париже в 1939 г., повторял журнальный. Сложности возникли при подготовке второй части. В «Современных записках» были заменены рядами точек несколько глав, публикация не была доведена до конца. Заключительные главы вместе с опущенными парижским журналом появились в 1942 г. в нью-йоркском «Новом журнале», но отрывки были сгруппированы по сюжетным линиям. Их место в тексте, последовательность глав надо было установить.

На помощь пришел английский перевод. Переводчик тщательно следовал авторскому замыслу, в части последовательности глав ему можно было полностью доверять. Но возникла новая загадка: в тексте «Нового журнала» почему-то отсутствовали три заключительные страницы романа, его кульминация и развязка! Редакция московского журнала «Октябрь», принявшая в 1993 г. роман к публикации, поручила мне дать эти три страницы в обратном переводе с английского. А через год, получив возможность поработать над алдановскими рукописями в Бахметевском архиве в США, я обнаружил их текст на русском языке. Эта находка заменила и отменила обратный перевод с английского. Роман и история его публикации на родине писателя обрели, наконец, окончательную развязку.

Вместо заключения две будащие мысль выдержки из писем Алданова последних лет его жизни. В письмах писатель высказывается откровеннее, чем в художественной прозе, мыслит оригинально, ставит острые темы, приглашая своего корреспондента к дискуссии.

Сначала цитата из письма Ю.П. Семенцову, химику, однокурснику Алданова по Киевскому университету (письмо от 16 февраля 1955 г.):

«У меня здесь в Ницце добрый знакомый Деслав, кинематографический деятель и украинский публицист (...) Мы с ним нередко встречаемся днем в кофейне, и без десяти семь он неизменно уходит домой – слушать киевское радио на украинском языке. Так вот, он меня все «утешает»: «Хоть Вы, Марк Александрович, больше, верно, никогда не увидите Вашего Петербурга, но Киев увидите и очень скоро. Будет независимая Украинская республика, и, разумеется, мы Вас туда пустим, так как Вы родились в Киеве». – «Неужели пустите? Ведь я не украинский писатель». – «Пустим, и даже будем печатать переводы Ваших книг, и платить будем авторский гонорар».

Вторая цитата из письма Алданова крупному политическому деятелю предоктябрьской России В.А. Маклакову (в 1917 г. он посол России во Франции, а позднее эмигрант, публицист и мемуарист). В трудный свой час на старости лет Маклаков написал Алданову, что прожил жизнь впустую, его дело и книги скоро позабудут. В ответе от 27 марта 1950 г. Алданов не только отыскивает единственные убедительные слова утешения, он рассуждает о бессмертии как философской проблеме, высказывает мысли, которые впоследствии положит в основу своей замечательной «Повести о смерти»:

«Ваша жизнь, Вы пишете, прожита даром! Я готов убрать этот восклицательный знак, если считать, что всякая человеческая жизнь живет даром и что никто после себя ничего не оставляет. В таком взгляде, конечно, была бы немалая доля правды. Книги, или картины, или

ученые труды человека живут много пятьдесят лет, музыка немного дольше. Приблизительно столько же хранится память о человеке, который памяти стоил, хотя бы ни одной строчки он не написал. Затем забывают по-настоящему – как что-то, а не как звук – и тех и других. Есть счастливые исключения, но ведь, скажем правду, они в громадном большинстве случаев «бессмертны» мертвым бессмертием. Никто ведь, правду говоря, не читает ни Данте, ни Аристофана, или читают их раз в жизни, в молодости, чтобы можно было больше к ним никогда не возвращаться (Екклезиаст и «Война и мир» не в счет). Помнят имя. И если чего-нибудь стоит такая формальная память, то Вам этот вид памяти обеспечен как знаменитейшему русскому оратору периода, который, верно, будут помнить долго. Историки, даже самые враждебные, должны будут в своих трудах к Вам возвращаться постоянно».

Хорошо, что Алданов сделал оговорку насчет «счастливых исключений». На деле они не так уж редки, и судьбой ему самому было предназначено стать одним из таких исключений. По одному из его романов («Ключ») недавно был поставлен фильм, еще один фильм, документальный, был посвящен жизни и творчеству писателя, закончено изданием новое восьмитомное собрание его сочинений. Его не забыли – и не только имя, но и книги.

А. Чернышев

Часть первая

I

Во сне человек, называвший себя Вислиценусом, видел все то же. Этот кошмар посещал его особенно часто в последние годы: выстрелы, кровь, погоня, лес, чаща, зажатый в руке револьвер с взведенным курком – тогда еще у револьверов взводились курки, – все то, что как будто бывает лишь в кинематографе, но с ним было в жизни, в его странной жизни, точно составленной в подражание плохому неправдоподобному фильму. Люди приближались и свистели, он сжимал револьвер все крепче: решил живым не отдаваться и в то же время во сне думал, что в этом романе из жизни американских трапперов на картинке был человек с *дымящимся «кольтом»* в руке, и надпись была с чернильным пятном: «Он твердо решил дорого продать свою жизнь»... Гнавшийся за ним впереди других огромный, рыжий, с зверским лицом человек выхватил кинжал. Мелькнул какой-то дощатый желтоватый ящик. Вислиценус проснулся, сердце у него стучало, в купе было полутемно; не сразу понял, что *то* давно кончено, что он едет по Германии, что протяжно свистит паровоз, что слабо поблескивающий впереди предмет – не дуло «*кольта*», а ручка умывальника. Правая рука его, почти судорожно сжимавшая деревянный выступ койки, разжалась. Он испытывал и облегчение, и грусть: почти жаль было, что *то* оказалось сном. Постарался припомнить снившееся – там, наряду со смешными нелепостями, были сложные комбинации, которые, он знал твердо, никогда наяву ему не приходили в голову. Кто-то в нем как-то думал обо всем этом, без его ведома, думал неизвестно зачем, неизвестно почему. Это было странно и неприятно: «вторжение в чужую квартиру»... Свист паровоза боролся с грохотом замедлявшего ход поезда. Повернул выключатель: чемоданы, в том числе и *важный*, были на месте. Свет резал глаза. Он привстал, поднял штору окна и тотчас погасил лампочку, по старой автоматической привычке бедного человека в бережливости. Было тусклое утро. Поезд подходил к станции. Взглянул на часы – нет, до Берлина еще довольно далеко.

Вислиценус встал, вынул из кармана гребешок, привел в порядок волосы и кое-как с досадой расчесал давно отросшую, но все еще непривычную седоватую бороду: она в Москве сразу состарила его лет на десять. «А узнать все-таки нетрудно. Да и скрываться теперь незачем. Детская игра, – рассеянно думал он, поглядывая на все медленнее проходившие за окном чистенькие каменные, кирпичные строения, – детская игра»... В памяти всплыла другая картинка из детского романа с надписью: «Медленно прицелился он в неподвижно стоявшего Корнелиуса»... За окном что-то закричал дикий голос; Вислиценус покачнулся от толчка. Из вагонов, суется, с радостными и растерянными возгласами стали выходить люди. По перрону катил повозочку мальчик и выкрикивал, неприятно картаво растягивая букву «р»: «Cafe... Br-rödchen! Belegte Br-r-rödchen...»¹ Вислиценус остановил его, взял картонный стакан с кофе и больше для того, чтобы проверить свой выговор – отвык от немецкой речи, – спросил, какая это станция. «Франкфурт-на-Одере», – с удивлением ответил мальчик, почему-то обиженно подчеркивая «на Одере». Франкфурт-на-Одере! «Was macht das?»² – еще спросил Вислиценус и, разобравшись в немецких деньгах, заплатил, сказав, как немец: «Stimmt»³ («нет, не забыл»...). «Danke sehr, danke schön»⁴, – пропел мальчик и покатил повозочку дальше: – Cafe, Br-rödchen!...

¹ «Кофе... Булочки! Бутерброды...» (нем). Здесь и далее переводы текстов на иностранных языках даны редакцией, если это не оговорено особо.

² «Сколько я должен?» (нем.)

³ «Правильно» (нем.).

Из-за угла строения появился отряд дружинников и быстро, тяжелым, крепким, звонким шагом прошел по перрону. На них смотрели с любопытством из вагонов; чувствуя взгляды, они шли особенно молодцевато, точно в сражение. «Хорошо идут», – подумал Вислиценус. Он знал в этом толк: в молодости служил в армии, лишь немногим было известно, в какой именно. Здоровые, энергичные, молодые лица с общим у всех радостным, самодовольным и тупым выражением вызвали у него такой прилив отвращения и ненависти, что сердце как будто снова стало биться сильнее. Тут же он подумал, что у той молодежи, марширующей в Москве, такие же лица и такой же вид, – разве только эти несколько крепче, здоровее и, главное, чище. И все тут: перрон, мундиры, свастика, белая куртка мальчика, восковые бумажки бутербродов – так и сверкало чистотой, от которой он тоже давно отвык, как от немецких денег. Отряд исчез в подземном проходе вокзала. «Полагалось бы пожелать, чтобы эти обманутые юноши под влиянием пропаганды перешли в коммунистический лагерь», – подумал он, садясь. Для краткости он просто пожелал им смерти. Вспомнил, что много лет тому назад в Москве одна девица, кокетничая, спросила его, задушил ли бы он своими руками лорда Керзона. Сделав страшные глаза, он в тон ей ответил, что уж очень неудобно душить своими руками: «Обычно я пользуюсь револьвером; а уж если душить, то отчего же не прибегнуть к услугам товарища палача?» Эффект ответа, особенно слов о «товарище палаче», был необыкновенный – девица так и затрепыхалась: ах-ах!.. Вислиценус знал, что ему с почтительным испугом приписывают в прошлом самые страшные террористические акты. «Мог бы стать в провинции первым любовником. А в сущности, сказал девице правду...» Он не чувствовал особенной ненависти именно к лорду Керзону, но, разумеется, в свое время не мешало повесить и лорда Керзона: «Зачем же ему было умирать в своей постели? Да и вообще легче перечислить тех, кого вешать не надо...»

Кондуктор прокричал страшным голосом: «Einsteigen!...»⁵ Поезд тронулся. Вислиценус умылся, в купе был умывальник красного дерева. «Да, они устраиваются удобно», – подумал он, вспоминая, как путешествовал в былые времена. Роскошь его раздражала – почти все раздражало его, он и теперь, если б был свободен, взял бы билет третьего класса. Но Вислиценус был причислен к посольству: по роду его работы из-за чемодана, который он вез, ему везде, а особенно при проезде через Германию, был необходим дипломатический паспорт. Посольство же, чтобы не иметь нежелательных соседей, заняло весь международный вагон. «Все равно провожатый, конечно, от гестапо», – подумал Вислиценус, впрочем, довольно равнодушно. Умывшись, он поднял упавшую с вечера на пол книгу, почему-то случайно захваченные письма Достоевского, и стал лениво перелистывать, разыскивая ту страницу, на которой заснул накануне. Там речь шла о «Бесах». Смутно вспомнил содержание этого романа. «В общем, идиотская история: всемирный бунтарь, приехавший из-за границы в русскую провинцию устраивать мировую революцию против какой-то генеральши... И этот мальчишка – сверхчеловек, намеченный за свою красоту в вожди мировой революции!...»

Читать Вислиценусу не хотелось. Он опустил книгу на колени и долго, глядя в окно, думал о самых разных предметах: о Гитлере, о предстоящей войне, о Наденьке, о своей миссии, о своей астме – еще только ли астма? В Москве врач, вызванный к нему в «Люкс», с уклончиво-озабоченным видом сказал, что современная медицина, собственно, смотрит на астму не как на самостоятельную болезнь, а как на симптом различных заболеваний: ему следовало бы вести возможно спокойный образ жизни. Вислиценус только усмехнулся, и врач понял, что дал не совсем удачный совет. «Кажется, он македонец, что ли? или работал долго в Македонии? Эти македонские историйки вообще не способствуют долголетию. Годика три-четыре еще протянет», – подумал врач и сказал: «Непосредственной опасности нет никакой, а отдохнуть вам очень не мешало бы, если, конечно, есть какая-либо возможность». – «Постараюсь, доктор,

⁴ «Большое спасибо» (нем.).

⁵ «Занимайте места!...» (нем.).

постараюсь, спасибо», – сказал Вислиценус. Оба поглядели друг на друга с насмешкой. «Мне что, твое дело», – подумал врач.

Из коридора слышались негромкие смеющиеся голоса. Посольство уже встало. Секретарь прошел мимо двери, стер с лица улыбку и холодно *бросил*: «Доброе утро, товарищ Дакочи...» Его называли также Дакочи; в газетах, при перечислении участников съездов Коммунистического Интернационала, писали то Дакочы, то Дакоччи, то Дакочич. Лишь виднейшие члены организации знали его биографию; а имен у него вообще было столько, что сам иногда не мог вспомнить, где и когда под какой фамилией жил. Псевдонимы он выбирал, долго не задумываясь, какие придется: был и Неем, и Чацким, и Кирджали, и Ураловым; несерьезное имя Вислиценус попало ему в какой-то химической книге и понравилось своей звучной неопределенностью. Настоящую же фамилию он носил только в ранней молодости, еще до того времени, к которому относился кошмар, и она давно была гораздо менее настоящей, чем Вислиценус или Дакочи. Он не любил рассказывать о своем прошлом, и это создавало ему ореол. Говорили, что он по происхождению македонец, или хорват, или далматинец, – или, как это у них там еще называется? – но учился в России, в кадетском корпусе; потом из кадетского корпуса молва сделала пажеский. «Это тоже способствовало ореолу, как ореолу Ленина у нас способствовало дворянское происхождение, за которое мы же преследуем чужих людей... Ну и отлично... Девять десятых престижа Кропоткина покоились на его княжеском титуле, да еще на длинной бороде: если бы его побрить и если бы он назывался Петровым или Шмулевичем, то кому он был бы интересен?..»

По коридору стыдливо проскользнула Надежда Ивановна с переброшенным через плечо полотенцем и с маленьким чемоданчиком в руке. Он улыбнулся ей, почувствовав радость. И тотчас ему самому стало смешно: в этой улыбке, в этой *беспричинной радости* было что-то чрезвычайно банальное и глупое: «При виде молодой девушки на суровом лице старого воина выступила ласковая улыбка...» «Да, да, старый воин», – пробормотал он и лениво, в сотый раз, попытался *обдумать отношения*. «Собственно, и обдумывать нечего: никаких отношений нет... Но они могут быть, и если б были, то вышло бы совсем нехорошо: не просто глупо, но и гадко. Старому человеку уж себя-то обманывать ни в чем не надо, достаточно обманывать других... Да, на шестом десятке, с суконным рылом, – нерешительно сказал он себе. – В лучшем случае она серьезно вообразила, что я Инсаров и что она тургеневская девушка. Но и тургеневских девушек у нас нет – да и нигде нет и не было, – и Инсарову нельзя быть старше сорока лет. А в худшем случае играет в *поклонение старому герою*. Комедиантка тоже порядочная, – с внезапным раздражением подумал он, – и я это скажу ей. По какому праву? А так, без всякого права, и пусть будет в этом *гадко-старческое*, мне совершенно все равно, я не виноват, что стар...» Тот человек, который в нем, одновременно изнутри и со стороны, неблагоприятно контролировал его чувства, говорил ему, что из этого положения выхода нет. «Почему же нет? Из всякого положения должен быть выход. Какая ерунда! Вовсе не из всякого. Ну, и не надо, и нечего изображать черта с Иваном Карамазовым, все мы пересыщены и отравлены литературой... Скверная сцена, и черт – скверная выдумка, и очень лубочно играл тогда Качалов...»

Он вспомнил о письмах, взял книгу и насильно заставил себя читать, но Достоевский по-прежнему был ему неприятен и неинтересен. «Да, да, смотрите, вот какой он правый и благонамеренный, ну, прямо совсем, совсем правый... Продержали молодца (он чуть было не подумал: *парня*) на каторге четыре года, шелковый стал, служил им верой и правдой весь остаток жизни. Но верить в *грубую силу* им не полагается, избави господи... Ну и отлично, правый и благонамеренный, очень приятно, но мне какое дело до него, и до всех этих людей, и до того, что в Германии везде такая грязь, – а он в Сибири привык к чистоте! – и до его демонических столкновений с квартирными хозяйками, и до того, что он так демонически проиграл десять талеров и не просто заложил юбку жены, а заложил тоже демонически, с самобичеванием?.. Зачем это издают? Кому нужны заграничные впечатления этого замоскворецкого мещанина?

Он – враг, и к черту его! Ведь нас он именно «собственными руками задушил бы»... Гениальный романист? Ну, и издавали бы «Преступление и наказание»... – Надежда Ивановна снова проскользнула мимо двери, на этот раз не взглянув в его купе. – У нее чистое полотенце и дорожный несессер. Чувствуется, что дочь профессора, «из хорошей семьи». И мне это нравится...» Он почитал еще минут пятнадцать, чтобы не так было явно, затем положил книгу и вышел.

II

В большом купе, составленном из двух отделений, кончали утренний завтрак посол Кангаров-Московский, его жена Елена Васильевна, стенографистка Надежда Ивановна и молодой секретарь. Посол был в хорошем настроении, хотя жаловался, что мало спал. Накануне они до двух часов играли в винт, потом ему долго снились какие-то бессмысленно чудесные розыгрыши и головокружительные коронки. Игра была именно такая, какую любил Кангаров: с прибаутками, с криками, с взрывами негодования, но без настоящих грубостей и без продолжительных ссор. После особенно драматических происшествий он ядовито справлялся, у кого именно учился виноватый партнер, и вопросительно называл имена известных сапожных фирм. Посол и теперь обсуждал с секретарем одно драматическое происшествие:

– Цыган бил сына не за то, что он играл, а за то, что потом спорил, – говорил, улыбаясь, Кангаров. Он улыбался почти неизменно, как будто неизменно знал что-то такое, чего не знал его собеседник: «Ах, если бы можно было им всё сказать!..» Улыбка у него была всегда сладкая и всегда разная: степень ее сладости зависела не от содержания разговора, а от того, с кем он говорил. Но коричневые глаза его никогда не отвечали улыбке, в них постоянно было беспокойство; иногда они желтели и сразу становились очень злыми. В этом полном несоответствии глаз и улыбки заключалась особенность его лица, вызывавшая у наблюдательных людей смутную тревогу. – Конечно, надо было прорезать даму, это должно быть ребенку ясно, Секретарь Иванович. – У него была давняя шутка: прибавлять отчество Иванович к произвольно выбранным словам. – Если бы вы прорезали, быть бы его превосходительству без трех. – Его превосходительством Кангаров подчеркнуто шутливо – «что же, мы в своей компании» – называл их полуслучайного попутчика, видного военного специалиста с настоящей, но похожей на псевдоним фамилией Тamarin. Он не состоял в посольстве и ехал в Париж в командировку.

Секретарь спорил учтиво и мягко, как полагается дипломату, – не надо было думать, что он подлаживается и во всем угождает начальству, но полпред был полпред, и в том, как защищал свою игру секретарь, слегка чувствовалось, что он признает себя немного неправым. Впрочем, он не подлаживался к начальству: был вообще человеком порядочным, добродушным и на подличанье неспособным. Но со времени назначения на дипломатическую службу секретаря так и переполняло счастье; на его лице повисло выражение тихого восторга: «До чего дожил!..» Он всей душой был благодарен Кангарову, который добился причисления его к посольству; считал посла большим государственным деятелем, искренно им восторгался. Оберегая свое достоинство, иногда спорил и о политике, и о винте, но всегда был готов признать превосходство собеседника. Кангаров в самом деле прекрасно играл в винт; никаких других карточных игр он не признавал и к бриджу, которому его учили за границей, относился сухо-недоброжелательно, как относятся к выскочке, занявшему, благодаря стечению счастливых обстоятельств, высокое место, принадлежащее по праву другому. Разбив молодого секретаря, он засмеялся и ласково потрепал его по плечу.

– Во всем нужна интуиция, – сказал он, – интуиция. В винт вы играете, как сапожник, будем надеяться, что на дипломатической службе интуиция у вас будет.

Кангаров-Московский придерживался того взгляда, что в нем должны быть два лица. На службе он был требовательный, властный и даже суровый начальник. Но вне службы они все равны, все партийные товарищи, и тон шутливой фамильярности – разумеется, в известных пределах – вполне допустим: вне службы он даже не лицо, а человек, милый, умный, внимательный, обожаемый подчиненными – нет, не подчиненными, а сослуживцами – человек. Так вел себя и Ленин – поэтому он и был «Ильич». Степень фамильярности вне службы, впрочем, у Кангарова менялась в зависимости от обстоятельств, настроения и собеседника. Больше всего позволялось его любимице, стенографистке Надежде Ивановне.

– Как быстро летит поезд! – сказала жена посла Елена Васильевна. – У нас куда медленнее... Ах, ради бога, закройте, сажа! – вскрикнула она: секретарь отворил окно и выбросил оставшиеся от завтрака бумажки и кульки. Рванул ветер, кулек жалко метнулся к стене вагона. – Сажа! Сажа! – с ужасом повторила жена посла.

Кангаров пожал плечами и, обратившись к стенографистке, принялся дразнить ее. Лишенный интуиции секретарь попробовал было шутливо пристать к их разговору, не пристал и непринужденно-почтительно, как полагалось дипломату, заговорил с женой посла о театре: она была артистка, а ему ничто человеческое не было чуждо.

Появление Вислиценуса должно было внести холодок. Посол очень его недолюбливал, и с ним вдобавок было связано свежее воспоминание о большой неприятности. Кангаров-Московский был в молодости меньшевиком и в пору первой революции, после провала московского восстания, в дни экспроприации, напечатал о большевиках за границей статью под заглавием: «Опомнитесь, бесстыдники!» Это было очень давно, партийный стаж был зачислен Кангарову с 1911 года, он считался одним из лучших экономистов партии, занимал видные посты, не был замечен ни в уклонах, ни в связях с оппозицией и имел все основания думать, что его печальное прошлое забыто. Приглашение перейти на дипломатическую службу он получил совсем недавно. Как эксперт принимал участие в разных международных конференциях, где его таланты и познания были оценены и начальством, и иностранными специалистами. На какой-то конференции сам Шахт сказал о нем: «Вот с таким человеком приятно иметь дело...» Когда были восстановлены дипломатические отношения с одной из далеких и менее важных монархических стран, Кангарову было предложено занять должность полномочного представителя. Он с радостью согласился, но, переоценив свой вес в партии, по неопытности и неосведомленности, поставил условие: никто не должен вмешиваться в его работу и вставлять ему палки в колеса. «Никто» это означало Коминтерн. Непосредственный начальник Кангарова, сам ненавидящий Коминтерн, посмотрел на него, вздохнул и ничего определенного не сказал. На прощальной аудиенции у диктатора Кангаров совершенно неожиданно узнал, что к его штату прикомандировывается Вислиценус. Преодолевая тот почти физический страх, который ему, как всем членам партии, внушал Сталин, Кангаров с достоинством (с самой сладкой своей улыбкой) напомнил об условии и принялся было объяснять свою точку зрения. Однако диктатор тотчас перебил его и, посмотрев на него с насмешкой тяжелым взглядом жестоких глаз, сказал, что никаких условий он ставить не может, а должен и будет делать то, что ему прикажут. При этом недвусмысленно дал понять, что печальное прошлое не забыто – где-то хранится статья «Опомнитесь, бесстыдники!» – и неожиданно перешел на «ты». Правда, «ты» было товарищеское, но оно было товарищески одностороннее, и Кангаров-Московский вспоминал об аудиенции с самым неприятным чувством.

Он не подал виду, что появление Вислиценуса ему неприятно. В глазах его мелькнула злоба, но сладость улыбки повысилась. Здороваясь, он даже привстал с места, что делал только для лиц немалого положения (перед высокопоставленными, естественно, вставал).

– Выпались? Позавтракали? – спросил он (два вопроса показывали, что не надо отвечать ни на один) и тотчас обратился к Надежде Ивановне, продолжая начатый разговор: – Да-с, детка, так и знайте, всех нас схватят и посадят в темницу. Какого это нашего посла султан бросил в Семибашенный замок? Ну, не в Семибашенный замок, а в концентрационный лагерь попадете.

– Вот тебе раз! А дипломатический иммунитет? – спросила притворно-испуганно стенографистка. Было молчаливо условлено, что Кангаров считает ее наивным ребенком. Ему было приятно, что он немного напугал ребенка.

– «Дипломатический иммунитет»! Скажите, пожалуйста, какие она знает слова! А кто провалился на экзамене по политграмоте? И кто это от меня скрыл? Знал бы, ни за что не взял бы тебя со мной.

У Кангарова не было никаких оснований называть стенографистку «деткой» и говорить ей «ты»: ей шел двадцатый год. Но это сделалось само собой: в первый раз он ласково обратился к ней на «ты» с наскока, с тем чтобы можно было, в случае неудачи, тотчас вернуться к «вы». Она не протестовала, и теперь он переходил на «ты» очень часто, хоть тоже всегда с наскока. Это доставляло ему наслаждение. Он даже иногда гладил ее по головке и делал это демонстративно-открыто: никто не должен был думать, что тут что-то надо скрывать, – жест отеческий и самый естественный.

Надежда Ивановна с детской наивностью откликнулась и на упоминание о невыдержанном экзамене по политграмоте: что ж делать, ей так не повезло, экзаменатор попался *злющий-презлющий*, о диалектике и *обо всем таком* она отвечала, право, недурно. «И о тактических взглядах группы «Освобождение труда» еще тоже туда-сюда, но уж когда он спросил, в чем был шаг вперед «Рабочего дела» в сравнении с «Рабочей мыслью», тут я вправду села. Не знаю, говорю. Оказывается, «Рабочее дело» стояло не только за стачки, но и за демонстрации...» Посол хохотал.

– Клянусь собакой, я сам этого не знал! – сказал он таким тоном, в каком рассказывают анекдоты, будто в гимназии учитель словесности поставил тройку с минусом за сочинение, написанное для гимназиста Тургеневым, или будто Анри Пуанкаре не мог решить алгебраическую задачу, заданную его племяннику в лице. – Так «Рабочая мысль» стояла не только за стачки, но и за демонстрации?

– Что вы! Это «Рабочее дело»!

– Пардон, «Рабочее дело»! – Кангаров хохотал, показывая смехом, что все это совершенно ненужно: только путает мелкая сошка. – Вы знали, Эдуард Степанович?

– А тут еще он сказал: «маспарвпрабкооп», а я не знала, что это такое, – рассказывала Надежда Ивановна. – Я ему говорю: «Товарищ, этого в программе нет», а он отвечает: «Я сужу, товарищ, о вашем общем развитии...» Вот и провалилась!

– Как? как? «Мосправра»!.. Нет, это просто анекдот! Ты слышала, Лена? – смеясь, спросил Кангаров жену, которая, по его мнению, слишком долго не обращалась к Наде: это могло сойти за высокомерие в отношении младших товарищей.

– Нет, я не очень слушала вашу болтовню, – холодно ответила Елена Васильевна. Она несколько не ревновала мужа, но ей просто не нравилось, что он называет эту Надежду Ивановну Надей и деткой. «Никакой она не ребенок! Просто ломается... У него, правда, такая манера, но это очень глупая манера...»

Ей почти все не нравилось в муже. Она была дочерью земского начальника и в душе считала свой брак мезальянсом. Елена Васильевна несколько демонстративно («да, действительно, долго не разговаривала и пока не собираюсь разговаривать!») обратилась снова к секретарю:

– Ермолова была, конечно, бесподобна, но сцену с кормилицей на лужайке, я прямо скажу, она играла не так. У нее не хватало детскости... Детскости... Помните: «Дай наслаждаться мне новой свободой! – Буду дитятей – будь ты дитя. – Пышный ковер здесь разостлан природой. – Дай нарезатьлюся, набегаюсь я...» Я тут кружусь и танцую, как, бывало, мы кружились в саду, в институте...

– Как жаль, Елена Васильевна, что я вас не видел в роли Марии Стюарт, – почтительно сказал секретарь.

– И не могли видеть, – вставил посол, вдруг разозлившийся на жену. Уж при этом господине (он разумел Вислиценуса) она могла бы оставить свои великосветские замашки и не напоминать, что училась в институте, если даже в самом деле там училась. – И не могли видеть, потому что она никогда в этой роли не выступала.

Опять подумал, что следовало бы по возможности безболезненно разойтись с женой. «Что ж от себя скрывать? Я к ней равнодушен, а она меня ненавидит. Я не виню ее, но когда

разумные люди видят, что дело обстоит так, они идут друг другу навстречу...» У него пожелтели глаза.

– Дебют уже был назначен, – ледяным голосом сказала Елена Васильевна. Она была трагической актрисой и любила роли королев. Перед войной интриги помешали ей сыграть леди Макбет. Во время войны *отделала* роли Марии Стюарт, Орлеанской девы и Орленка, опять помешали интриги и отчасти революция. – Если б не сняли с репертуара, – начала она и, не dokonчив, зевнула. – Скушно мне... – Слово «скушно» Елена Васильевна произнесла сверхмосковским актерским говором, чтобы глухому и то было ясно: не «ч», а «ш».

– Нас, конечно, встретят на вокзале Фридрих-штрассе, – сказал секретарь, дипломатически меняя разговор. Он учился в берлинской технической школе и хорошо знал город.

– Если вообще встретят, – ответил беззаботно Кангаров. – Станут эти лежебоки вставать так рано. – Они говорили о берлинском полпредстве.

Вислиценус вышел из купе. Все эти люди, кроме Нади, раздражали его. Да и на Надю он был зол за ее подлаживание к послу. «Конечно, она не любит и не может уважать этого старого лавочника с душой чекиста и с замашками грансенъора. Девчонка, хоть она и под *тургеневскую*, вообще никого в душе не уважает», – подумал он. Неприятнее всех ему был Кангаров. Вислиценус большинство людей считал прохвостами, но он относился гораздо мягче к тем из них, относительно которых ни у кого сомнений не было: если бы Кангаров сам знал, что он прохвост, это утешило бы Вислиценуса. Однако Кангаров был, по его мнению, прохвост *недоказанный*. «Со всем тем очень полезный человек, – по давней привычке он составлял краткий баланс людей, с которыми работал. – Умен? Да. Во всяком случае, очень неглуп и хитер. Знает свое дело, на финансах собаку съел. Злой, несмотря на сахариновую улыбку: в пятьсот раз слаще сахара. Добродушие, шуточки, это напускное: в ГПУ полно таких добродушных людей. Вечно всем говорит комплименты, но в каждом комплименте скрывается неприятность... В общем, не хуже других, отличный работник. Лавочник – это неправда, он все же человек идейный».

Подумал, что, в сущности, никогда, несмотря на тридцатипятилетнюю революционную деятельность, не мог преодолеть в себе общего нерасположения к евреям, унаследованного от многих поколений предков. «Тщеславный народ... Впрочем, Кангаров для них не характерен, и мать его не еврейка, да и тщеславие у него не главное, и вообще национальность тут ни при чем...» Вислиценус недолюбливал евреев и терпеть не мог антисемитов.

В коридоре он остановился: куда же, собственно, идти? В продолжительном путешествии по железной дороге было что-то общее с тюрьмой: там несколько шагов по камере, здесь по вагону, – и сознание даром уходящего времени. Он сел на откидной стул и рассеянно уставился в окно. Думал все о том же: жить осталось два-три года, может быть, пять, если взять отпуск и уехать куда-нибудь на Кавказ или в Крым. Отпуск получить, разумеется, легко. Многие были бы сердечно рады, если б он перешел на положение инвалида и без борьбы, без дразг и интриг освободил место. Подумал было, кто его сменит, и не остановился на этой мысли. Представил себе жизнь в доме отдыха или в санатории с единой заботой о том, как затянуть жизнь, и даже улыбнулся. Об этом он и думал без всякого волнения: настолько было ясно, что это для него невозможно. «Ну, хорошо, потом пойдут последние болезни, при некотором счастье недолгие, конец, в лучшем случае: «сомкнем крепче ряды над могилой старого борца», почетный караул в Колонном зале, урна в Кремлевской стеле... Фон из урн старых борцов для мавзолея Ленина, как во Дворце инвалидов фон из генеральских гробниц для наполеоновского саркофага. Сталину, если его убьют и если не победят те, которые убьют, если вообще умрет вовремя – все надо делать вовремя, – отведут отдельный мавзолей...»

Он лениво остановился на мысли, где именно на Красной площади могут воздвигнуть мавзолей Сталину и в каком стиле его выстроят? «Как-то нехорошо два мавзолея. Вот как во Дворце инвалидов был бы еще чей-нибудь второй саркофаг... – Потом вернулся к прежним

мыслям. – Да, урна в Кремлевской стене, будут играть «Интернационал»... Прежде играли «Вы жертвою пали...». Что лучше? – Опять немного задержался на мысли: что ему было бы приятнее? – Совершенно все равно. Если умереть вовремя, то будут в газетах пять-шесть «Памяти старого революционера» и торжественное заседание с речами. Быть может, со временем найдется и биограф, больше потому, что жизнь была с фабулой. Что ж, у других не будет и этого», – Вислиценус думал обо всем этом почти без насмешки. При желании он и теперь, после всего, что было, мог настроить душу на возвышенный лад. «Разочарование? Нет, особого разочарования нет. Море крови? Точно *они* в ту войну не пролили такого же моря! Интриги, дразги, ненависть под видом обожания? Если бы, однако, узнать у наполеоновских маршалов, очень ли они при жизни любили человека, вокруг которого так обманно, с *солдатской преданностью*, лежат во Дворце инвалидов! Так всегда было...» Цепь силлогизмов, выработанная Ильичем в 1918 году и при общей радости всеми усвоенная, оставалась непоколебленной. Идет великое дело, величайшее из дел, освобождение трудящихся всего мира; пусть к этому делу примазались злодеи, прохвосты, бессловесные люди, как этот «Секретарь Иванович»... «Если тот еще раз скажет «Коминтерн Иванович», надо будет дать ему по морде, по его подбитой ватой морде! – с внезапным бешенством подумал Вислиценус и сейчас же *взял себя в руки*. – Совсем помешался, скоро кусаться буду... Ну, примазались, это всегда так бывает, это неизбежно... Да, великому делу, наряду с людьми прекрасными и кристально чистыми, служат скверные людишки. Только злой мелкий человечек может сделать из этого выводы против дела. И во всех лагерях то же самое, у них вдобавок и дело отвратительное. Что еще? Террор? Но правящие классы никогда бы не отдали своей власти, своих денег, вот этих вагонов без ожесточенного сопротивления. Их сопротивление можно было сломить только террором. Без «моря крови» у власти нельзя было бы продержаться и полугода. Перешли бы в историю в лучшем случае с репутацией слабых, неумных и благородных мечтателей, в худшем случае – с репутацией немецких прихвостней и изменников. И над нашей слабостью смеялись бы люди, которые нас бы свергли! Нет, уж лучше «море крови», чем «дряблые интеллигенты!» – опять с вспышкой злобы подумал он. Цепь силлогизмов оставалась непоколебленной, но она просто его теперь не очень интересовала. Это было хуже всего.

Надежда Ивановна вышла из купе. Ему показалось, что на ее лице проскользнуло неудовольствие, когда она увидела его в коридоре. Вислиценус почувствовал укол в сердце. «Что за вздор! – сказал он себе. – Какое мне до нее дело!» Но то, что он называл внутренней дисциплиной, не помогло. «Есть дело... Да, если б на остающиеся два-три года можно было...» «Что, Наденька, утомлены дорогой?» – спросил он и подумал, что его «Наденька» мало отличается от «детки» Кангарова. Нет, уж себя обманывать отеческим отношением не приходилось. Она заговорила с ним как будто совсем не в том тоне, в котором говорила с послом. Теперь ее тон был нежно-восторженный, так она могла говорить с Кропоткиным, но и в этом тоне был тот же обман. «Послу ей, однако, нужно угождать, а мне как будто незачем. Она хочет нравиться всем, это скверная болезнь, но с ее умом она могла бы понять, что мне нисколько не нравится, когда меня стилизуют под Инсарова, а тем более под Кропоткина», – подумал он. В его ответах проскользнул холодок, она взглянула на него и вспыхнула, – от этого раздражение у него тотчас улеглось. «Хочу взять книгу», – сказала она. Он неохотно приподнялся со своего откидного стула, чтобы пропустить ее. Толчок поезда бросил ее на него. «Что вы теперь читаете, Наденька?» – вздрогнув, спросил он и почувствовал, что ему очень хотелось сказать: «Что ты сейчас читаешь, Наденька?...» – «Новый роман Викки Баум», – нарочно солгала она. Он не знал или не помнил этого имени, но почувствовал интонацию ответа: «получай!...» «Ну и отлично, в самом деле, знай, сверчок, свой шесток... В этом ящике навсегда повернуть ключ!...» Надежда Ивановна вошла в свое купе и затворила за собой дверь. Вислиценус прошел к себе, сел, взял письма Достоевского, посмотрел на часы. До Берлина еще было далеко. «Да, с Тамариным поговорить», – вспомнил он устало.

III

Бывший генерал-майор, а теперь командарм 2-го ранга Константин Александрович Тамарин в своем купе занимался от скуки решением крестословиц. Он любил это развлечение и считал его полезным для людей умственного труда: подобно шахматной игре, оно требовало напряжения мысли (полезно, как постоянная тренировка) и вместе с тем давало отдых от привычной работы. Но по утрам Тамарин никогда крестословицами не занимался, и ему было немного совестно. Путешествие всегда выбивало его из колеи. Накануне вечером он играл с попутчиками в винт слишком долго. В былые далекие времена, в Петербурге, всегда кончал игру около полуночи, затем легко ужинал и выпивал две рюмки хереса. Об его хересе на сон грядущий все знали; клубный лакей подавал ему бутылку без заказа, и он немного этим гордился, как гордился вообще регулярностью своей жизни и тем, что отлично спит после ужина: другие люди его лет перед сном не ели ничего.

Играл он в винт мастерски и был когда-то в клубе признанным авторитетом. За прекрасную игру его не раз приглашали в партии самых высокопоставленных людей. В поезде за игрой вышла необыкновенная, редчайшая комбинация, с малым шлемом без козырей, – почти совершенно тождественная той, которую он когда-то разыграл в яхт-клубе: память вообще, и в частности память к карточной игре, у него была необыкновенная. Его партнер Кангаров сыграл точно так, как тогда сыграл великий князь. Тамарину воспоминание было немного смешно, но прежнее чувство неловкости – «с кем играл когда-то, с кем играю теперь!» – мучившее его в первые годы близости к большевикам, давно рассеялось. «Что ж, и *те* были не ангелы, да и среди этих не все скоты, попадаютсЯ и порядочные люди... Вот и в винт играют одинаково», – почти весело подумал он, снова сдавая карты.

Кончили они игру поздно, затем из вежливости надо было еще хоть немного поговорить. Посмеялись за расчетом: в какой валюте расплачиваться? Игра была далеко не крупная, но секретарь проиграл несколько больше, чем ему следовало бы по жалованью и по суточным. Посол, чтобы его утешить, был с ним особенно ласков. «Зато в любви какое счастье этому красавцу! – говорил он (секретарь был уродлив). – Представьте себе, из-за него три женщины покончили с собой... Эдуард Степанович, сколько вы в общем выплачиваете алиментов в месяц? Нет, положительно пора бы вам остепениться...» – «Спасибо, я уже смеялся», – невпопад ответил, стыдливо улыбаясь, секретарь. «Значит, быстрота и натиск. Храбрость города берет», – тоже невпопад поддержал шутку посла Тамарин. «Что ж, приблизительно так же шутили и в яхт-клубе», – рассеянно подумал он. «А шлемик, Командарм Иванович, хоть этот фушер вам очень помог, вы разыграли на ять, – признал Кангаров, – это что и говорить...» За картами они постоянно обменивались комплиментами, в тоне Наполеона, отдающего должное эрцгерцогу Карлу. У каждого был свой стиль игры, находивший признание у другого. Впрочем, они и вообще были довольны друг другом. «Вот и этот не совершенный скот, – думал Тамарин, – хоть послом его можно было сделать разве для смеха». – «Не орел, конечно, его превосходительство, но приятный человек, понявший урок истории и ошибки своего класса», – думал Кангаров. В свое купе генерал вернулся в четверть третьего. От хереса он давно отвык, но ему хотелось закусить: обед, как всегда в вагоне-ресторане, был не очень хороший и довольно дорогой.

На ночь Тамарин, по своему обыкновению, прочел главу из «Hinterlassene Werke»⁶. У него было отличное дюмmlеровское издание Клаузевица, с которым он никогда не расставался: скорее отправился бы путешествовать без паспорта или без зубной щетки, чем без этих небольших книг в старинных переплетах из гладкой желтой кожи. Самый вид их, суховатая бумага, последнее слово или последний слог внизу страницы перед переходом на новый лист, малень-

⁶ «Наследие» (нем.).

кое *e* вместо «умлаута» над *o*, *u*, *a*, действовали на него умиротворяюще. Обычно он прочитывал одну главу и засыпал. Но на голодный желудок заснуть было нелегко, и книга раскрылась на очень сильной главе. Сначала попался один из тех коротких, отчетливых, похожих на приказ афоризмов, которые доставили Клаузевицу любовь всех военных людей мира: «Der Krieg hat freilich seine eigene Grammatik, aber nicht seine eigene Logik...»⁷ «Как верно и ясно!» – с наслаждением подумал Тамарин. Открывшуюся главу он помнил не так хорошо и был этому рад, как радуются иные читатели, что немного забыли «Мертвые души»: можно будет перечитывать. Он стал читать дальше:

«Die ungeheueren Wirkungen der französischen Revolution nach Aussen sind aber viel weniger in neuen Mitteln und Ansichten ihrer Kriegführung als in der ganz veränderten Staats – und Verwaltungskunst, in dem Charakter der Regierung, in dem Zustande des Volkes u.s.w. zu suchen. Dass die andern Regierungen alle diese Dinge unrichtig ansahen, dass sie mit gewöhnlichen Mitteln Kräften die Wage halten wolten, die neu und überwältigend waren: das alles sind Fehler der Politik. Hätte man nun diese Fehler von dem Standpunkte einer rein militärischen Auffassung des Krieges einsehen und verbessern können? Unmöglich»⁸.

Мысли эти его взволновали, он прочел во второй раз, на словах «Mitteln Kräften» была как будто неувязка. «Может, простая опечатка? Да не в том дело...» Из этих слов, очевидно, следовали выводы, имевшие значение для всей его работы, как-то по-новому оправдывавшие его жизнь. Однако в третьем часу ночи Тамарин был не в силах обдумать прочитанное и знал, что если начнет об этом думать, то не заснет. Он хотел было заложить угол, но пожалел: уж очень хорошо было издание – и решил запомнить страницу: 148. «Сто сорок восемь, – сказал он вслух и спросил себя, нет ли мнемонического приема: восемь вдвое больше, чем четыре, но первая цифра... – Да, разумеется, буду помнить: сто сорок восемь», – подумал он и заснул. Спал он много хуже обыкновенного, снились ему вещи бессмысленные, великий князь играл с Клаузевицем в винт, и в карты им смотрел царь Петр, Клаузевиц прорезал на шлеме, оставил противников без ста сорока восьми. «На ять сыграли, Клаузевиц Иванович!» – сказал в восторге Петр Великий.

На этом Тамарин проснулся и что-то еще мог с улыбкой вспомнить из нелепого сна. «Царь Петр тут при чем? Кажется, год как о нем не думал!..» (Только дня через два случайно вспомнил, что в яхт-клубе на стене висел портрет Петра.) За окном светились огни. Поезд стоял. Генерал взглянул на часы: шесть. Не граница ли? Посмотрел в окно и, увидев при тусклом свете фонарей офицера в немецком мундире, ахнул: «Германия!» Он наскоро оделся, надел пальто, поднял воротник и вышел, чувствуя непонятное волнение.

Со времени войны он за границей не был. Накануне они проехали через Польшу, но ему как-то трудно было считать Польшу «заграницей», а Варшаву, где он в молодости состоял в штабе генерал-губернатора, столицей иностранного государства. «Вот это настоящая *заграница*... Не так собирался сюда войти двадцать два года тому назад...» Одни чиновники страшного вида проверяли паспорта, другие – багаж. В советский дипломатический вагон никто не заглядывал; самый страшный из чиновников только обменялся несколькими словами с секретарем, который, видимо, был и перепуган, и счастлив. Затем чиновник приложил руку к козырьку и отошел, впрочем, без большого почтения на лице. Генерал, вздрагивая, гулял по перрону. Все тут неопределенно его волновало, особенно вид немецкого офицера. Этот офи-

⁷ «У войны есть собственная грамматика, но нет собственной логики...» (нем.)

⁸ Огромное внешнее воздействие французской революции следует искать не столько в новых средствах и доктринах ведения войны, сколько в совершенном изменении политического искусства и методов управления, характера правительства и состояния народа и т. д. То, что другие правительства неверно истолковывали, то, что они стремились обычными силовыми средствами удержать равновесие, хотя это была уже новая чаша весов, которая перевешивала, – это были ошибки политики. Возможно ли такие ошибки рассматривать с точки зрения чисто военного восприятия войны и пытаться их исправить? Невозможно» (нем.).

цер искоса на него поглядывал, видимо, тотчас безошибочно признав в нем военного; и Тамарин, разумеется, сразу заметил все перемены в германском мундире. Почему-то при виде офицера он пожалел, что вышел из вагона небритый и без воротничка. Ему хотелось выпить кофе или лучше чего-нибудь немецкого, например, данцигской водки. Но в ранний утренний час на перроне еще ничего не продавали. Начала работу только газетная будка. Генерал нерешительно оглянулся: его положение было очень прочным, бояться как будто ничего не приходилось, но, может быть, все-таки было бы лучше немецкой газеты не покупать (да еще сразу, на первой станции: «набросился!»). Он рассердился и купил газету; сложил ее вдвое, спрятал в карман и вернулся в свое купе. «Собственно, теперь, при желании, можно было бы остаться здесь совсем, – вдруг пришла ему в голову дикая мысль. – Стать эмигрантом, как те... Вздор какой!.. Волноваться не от чего, ну, жили так, теперь живем иначе... И они тоже не совсем так живут, как раньше... – В купе было тепло, он все еще вздрагивал. – Да, не думал, не думал... Не надо было выходить неодетым... – Рассеянно просмотрел мелочь, сдачу, данную ему при покупке газеты. Вид немецких монет тоже волновал его: он когда-то провел год в командировке в Германии, и это было одно из самых приятных воспоминаний его жизни. – Не надо было выходить без воротничка...»

Поезд тронулся. Тамарин снял пальто, повесил его на крючок, разделся и снова лег, дрожа под легким одеялом. Думал, что засыпать теперь уже не стоит, но задремал и проснулся лишь на остановке во Франкфурте, от свистков и шума за окном. Больше не выходил: пользуясь остановкой, выбрился. В России всегда с этого начинал день. Никаких «жиллетов» он не признавал; у него от лучших времен сохранился прибор из семи превосходных английских бритв: для каждого дня была положена особая – на рукоятках были выгравированы слова: «Monday, Tuesday, Wednesday»⁹, – затем лезвию давалась неделя отдыха; от этого оно становилось лучше. В первые годы революции брившиеся прежде люди, случалось, отпускали бороду в целях экономии, а бородатые начинали бриться в целях гигиены. Тамарин носил по-старинному бакенбарды под Александра II – такие и до революции были разве у одного человека из тысячи: ни цель экономии, ни цель гигиены не достигалась; однако у него и в те годы подбородок был всегда пробрит безукоризненно, бакенбарды тщательно расчесаны. В этих бакенбардах было нечто контрреволюционное, и на улицах прохожие, особенно те, что постарше, поглядывали на него с удивлением и даже не без испуга. Сбрил он бороду лишь в пору самого страшного голода и нищеты – показалось дико ходить так дальше, да и очень уж он вдруг поседел. Жизнь его точно разделилась на два периода: с бакенбардами и без бакенбардов. С того времени у него немного убавилось и уважения к себе.

День его в России проходил очень правильно. После бритья, если можно было, принимал ванну; но и в ту зиму, когда люди сидели дома в шубах, ежедневно обливался водой и носил сносное белье. Хозяйство вела кухарка, прослужившая у них много лет и оставшаяся при нем после смерти жены. Ни детей, ни близких родных у него не было. Вся жизнь Тамарина сводилась к работе. Выкупавшись, он всегда сам заваривал чай по своей системе: обжигал три полные ложечки крутым кипятком, давал постоять минуты две под полотенцем и доливал доверху кипящей водой. Затем уносил чайник в свой кабинет и за работой выпивал три стакана, с одним куском сахара каждый, и съедал сухарь: хлеба избегал, так как имел склонность к полноте. Это было лучшее его время. В эти утренние часы, от 7 до 9, он составлял доклады, записки и статьи для военно-научных изданий. Сначала набрасывал карандашом конспект, затем, сразу набело, писал окончательный текст на своем старом – еще в три ряда клавиш, – но совершенно исправном «ундервуде». Сливаясь, все это – работа, крепкий чай, легкий четкий стук машинки, так приятно-отчетливо выводившей его мысли (после машины все становилось особенно ясным), – было главной радостью его жизни. Ровно в 9 часов он со вздохом

⁹ «Понедельник, вторник, среда» (англ.).

прекращал работу, заботливо накрывал крышкой «ундервуд» и уезжал на службу. Там слушал чужие доклады и читал чужие записки. Они в большинстве ему не нравились, но относился он к ним очень корректно и заключения давал по совести, если только не было совершенно необходимо лгать.

В вагоне ничего этого делать было нельзя. Тамарин вспомнил, что купил на границе газеты. Ему прежде всего бросилась в глаза статья под крупным заголовком: «Die jüdischen Bluthünde»¹⁰. Чувства его к большевикам, о которых говорилось в статье, были смешанные, но он у них служил – теперь служил верой и правдой, – и ему было не совсем приятно, что их так называют: это косвенно задевало и его самого.

Когда-то в пору Гражданской войны он поступил на советскую службу с намерением либо помочь тому, кто произведет переворот, либо, улучив подходящую минуту, перейти к белым. Из этого ничего не вышло. Переворот не происходил, белые генералы, по дошедшим до него слухам, называли его кто дураком, кто подлецом и изменником. А главное, нужно было жить. Он пришел к мысли, что можно служить России при любом строе, особенно когда служишь в армии. В последние годы жизнь кое-как наладилась, началась работа, почти такая, как в лучшие времена; к нему относились хорошо и с мнением его очень считались. В дураках оказались люди, называвшие его дураком. Газет, которые могли бы смешать его с грязью, больше не было. Вначале еще тревожила мысль: что, если придут *те*? Теперь как будто ясно было, что *те* не придут. Иногда, впрочем, ему снилось их возвращение. Проснувшись, думал, что этого быть не может; но если они и вернуться, то ведь должны же будут считаться с оставшимися! Оставшихся было неизмеримо больше, чем ушедших, и все они в эти годы вели себя почти одинаково.

Тамарин пробежал телеграммы. Известия тоже были неприятные: сообщалось о больших успехах итальянских войск в Африке. По своим взглядам, он желал победы Италии, считал Муссолини великим государственным деятелем: «не было у нас ни одного такого, оттого так все и вышло...» Но генерал был убежден, что завоевать Абиссинию итальянцам будет чрезвычайно трудно. В одной из самых лучших своих статей он доказал, что горная цепь Амба-Аладжи неприступна. Ссылаясь на его авторитет, советская газета высказала даже в передовой уверенность, что на эфиопском деле империалистская банда сломит себе шею (эта ссылка была для него большим служебным успехом). Теперь в телеграмме сообщалось, что Амба-Аладжи и даже Амба-Арадам взяты. «Может, еще неправда?» – усомнился Тамарин. Однако сообщение как будто походило на правду – теми почти неуловимыми признаками, которые чувствуются и во вранье официальных сообщений. Генерал проверил ход своих мыслей. Штурмовать отвесный горный хребет, на котором укрепились армия раса Десты, очень трудное, почти невыполнимое дело. «И ведь не станет же тем временем сидеть сложа руки рас Сейюм: тотчас, разумеется, ударит на линию Макалэ – Адуя», – подумал он, от всей души желая успеха расу Сейюму, несмотря на свои загнанные внутрь политические взгляды и на преклонение перед Муссолини. Несколько успокоенный, он выбросил немецкую газету за окно и, открыв том Клаузевица на 148-й странице (вспомнил и без мнемонического приема), стал выписывать те строки в записную тетрадку. Но поезд несся быстро, карандаш прыгал по бумаге, выходили каракули. «Нет, в вагоне работать нельзя...»

Он вынул из чемодана иллюстрированный журнал с крестословицами. Вначале пошло хорошо. В вертикальном ряду первым было: «Им славятся Марсель и Казань». «Мыло, разумеется», – с удовольствием подумал генерал. Но затем пошли загадки: «Энергичного человека она не заставит повернуть обратно...» «Пуля? Нет, не пуля. Укрепления? Тоже нет...» Пропустил: легче будет, когда выяснится следующий ряд... «Префикс, заимствованный из татарского языка». «Что за вздор! Откуда порядочному человеку знать такие вещи?..» «Она рассказывала

¹⁰ «Еврейские кровавые собаки» (нем.).

Митрофанушке интересные истории...» Тамарин старался вспомнить: Митрофанушка это из «Недоросля», но кто же рассказывал ему интересные истории? Няня? Мать? Не выходило.

В это время в его купе вошел Вислиценус. Генерал несколько смутился, отложил иллюстрированный журнал и, поиграв серебряным карандашиком, незаметно спрятал его в карман. С Вислиценусом он был немного знаком по Москве (встречал изредка на заседаниях) и относился к нему так, как мог бы относиться к пляшущему дервишу или к существу, прилетевшему с Луны: может быть, и хорошее существо, но ждать от него можно всего, надо быть очень осторожным. Перед самым его отъездом из Москвы Тамарину было объявлено, что, быть может, Вислиценусу за границей понадобится его помощь – это очень встревожило генерала – «советом и техническими указаниями», несколько успокоил его начальник. «Неужели пришел за помощью?» – подумал он. Однако его опасение было неосновательно. Вислиценус просто хотел побеседовать: что за человек? Почему-то ему нравился командарм Тамарин. У него была слабость к военному делу и к военным людям. В детстве он страстно мечтал стать великим полководцем.

«Как спали?» – спросил он. «Как изволили почивать?» – одновременно спросил генерал. Оба засмеялись. Тамарин сказал, что слишком долго вчера играли в винт. «Охота вам...» – «Отлично играет наш полпред», – заметил Тамарин. «Вот как, отлично?» – сказал Вислиценус, и в тоне его почувствовалось недоброжелательство. «Да, в винт он, говорят, превосходно играет, – подумал он, – что ж, у каждого человека должно быть что-либо настоящее, свое, подлинное, у него, быть может, винт...» «Я тоже слышал, что он прекрасный винтер», – с насмешкой сказал Вислиценус. Генерал насторожился. Ему доставляли удовольствие раздоры и столкновения между *этими людьми* (он часто видел такие сцены в комиссиях, где *эти люди* с ним бывали почти всегда любезнее, чем друг с другом). Однако Вислиценус больше ничего не сказал и перевел разговор на Германию, на немецкую чистоту и порядок. «На это они точно мастера», – сказал Тамарин и вспомнил какой-то эпизод из времен войны. Эпизод был малозамечательный, но Вислиценус терпеливо слушал: может быть, в конце будет что-либо интересное? Интересного и в конце ничего не оказалось. Попробовал наудачу спросить, какую военную школу Тамарин ставит выше: немецкую или французскую? Генерал ответил, что у немцев больше основательности, *Gründlichkeit*, а у французов больше – ну как сказать? – больше брио¹¹: «знаете, этот французский *élan*¹²?..» Вислиценус кивнул головой со значительным видом, точно только теперь, после разговора с крупным специалистом, понял, в чем разница между обеими школами. В развитие своей мысли командарм процитировал Клаузевица: «*Die moralischen Hauptpotenzen sind: die Talente des Feldherrn, kriegerische Tugend des Heeres, Volksgeist desselben*» и перевел: «Таланты полководца, воинская добродетель армии и ее национальный дух...» Сказал и пожалел: лучше было не говорить таких слов. «Тогда мы хороши, – угрюмо подумал Вислиценус. – Да, Клаузевиц: «*Der Krieg ist eine Fortsetzung der Politik*»¹³, – ответил он, показывая, что переводить немецкую фразу было не нужно. «Ленин тоже очень высоко ставил вашего Клаузевица. Я поэтому начал было его читать и бросил: мне показалось скучно, общие места». Генерал посмотрел на него так, как очень терпимый, но верующий мусульманин мог бы смотреть на человека, отзывающегося пренебрежительно о Магомете. «Ну, знаете, – сказал он, – это как кто-то говорил, что «Горе от ума» – плагиат: все состоит из поговорок, там Марья Алексеевна и все прочее...» Разговор сразу оживился, и через несколько минут оба уже беседовали с увлечением.

– ...Да, это отчасти верно, – говорил Вислиценус в ответ на приведенную Тамариным цитату, ту, которая накануне так его взволновала, – но только отчасти. Вам, генералам,

¹¹ Жар (*фр.* «briot»).

¹² «Порыв» (*фр.*).

¹³ «Война есть продолжение политики» (*нем.*).

конечно, эти мысли выгодны. Если вы побеждаете, честь и слава. А если не побеждаете, то виновата политика, вы тут ничего не могли сделать: «unmöglich»¹⁴, не правда ли? Поэтому-то все вы так любите Клаузевица. Нет, дело не в политике, а в технике. Вы, военные люди, германскую войну представляли себе как японскую, и с 1905 года по 1914-й готовились к новой японской войне. А теперь вы будущую войну представляете себе как германскую и опять готовите нам прошлую войну. А она будет совершенно другая. Отчего? Оттого, что какой-нибудь штатский Майер или штатский Сидоров, или штатский черт в ступе выдумает какую-нибудь штучку, из-за которой все ваши расчеты пойдут прахом.

– Это неверно, просто фактически неверно, – говорил Тамарин, сдерживаясь: все-таки он не мог серьезно спорить о военном деле с штатским человеком. – И прежде всего потому неверно, что нам все эти штучки Майера тотчас становятся известными, и мы их пускаем в ход...

– Ничего вам не становится известным, так как в мирное время Майер ни о какой войне и не думает. Он начинает думать о войне, когда война уже идет, когда газеты его раскалят до белого каления, когда у него убьют сына, внука, племянника. Вот тогда он и начинает думать, как бы лучше отправить на тот свет тех «ближних», с которыми он за год до того воспевал братство людей и лакал пиво на разных научных конгрессах. А так как у Майера больше знаний и таланта в голове, чем у всех генералов, вместе взятых (Тамарин пожал плечами), то он-то, Майер, обезьяну и выдумывает. Тогда являетесь вы, господа генералы, и «пускаете в ход». Так было и с удушливыми газами, и с танками...

– Танки изобрел генерал! Ваш пример говорит как раз против вас!

– Уж будто? Верно, изобрел какой-нибудь состоявший при нем инженер, а он выдал за свое. А уж насчет удушливых газов я твердо знаю: штатский профессор выдумал, Габер, Хабер, Гагер, не помню.

– Но если все определяется наукой, то чего же стоит ваш экономический материализм? – сказал генерал. Лицо у него изменилось, он немного побледнел. – Что же тогда руководит миром? Бытие или сознание?

– Это другой вопрос!

– Нет, не другой, а тот самый. Я спрашиваю: бытие или сознание? Тогда, извините меня, ваш материализм ерунда!..

Он спохватился и замолчал. Вислиценус засмеялся. Ему все больше нравился генерал: и тем, что он изменился в лице, когда речь зашла об его деле («да, конечно, у него *подлинное* это»), и тем, что перелицованный костюм с боковым карманом на правой стороне пиджака на нем казался почти новым, и тем, что в его купе приятно пахло туалетной водой, – и всем вообще своим обликом. «Облик – пустяки, но в каком-то смысле мы оба с ним люди старого времени», – подумал Вислиценус. К собственному его удивлению, эта неожиданная мысль не была ему неприятна.

– Вы меня обошли слева, – смеясь, сказал он, показывая, что командарму опасаться нечего. – Да я и в самом деле плохой марксист. – Тамарин снова насторожился. «Это можно понимать двояко: «плохо понимаю марксизм» или «плохо верю в марксизм»? Уж не провокация ли?» – подумал он. Стук поезда чуть изменил тон, послышался свисток; это как будто клало конец отделу разговора, как в книге цифра новой главы. Вислиценус посмотрел на часы.

– Медленно идет время... Вы позволите? – спросил он, взяв с дивана иллюстрированный журнал. – Вы, кажется, занимались крестословицами?

– Да, я в дороге люблю, – сказал, виновато улыбнувшись, Тамарин. – Работать ведь нельзя, а...

¹⁴ «Невозможно» (нем.).

– Я тоже очень люблю. Вот эта? «Им славятся Марсель и Казань...» Мыло, конечно, – с торжеством догадался он.

– Это-то мыло, а вот дальше: «Энергичного человека она не заставит повернуть обратно», вы это скажите.

– «Энергичного человека она не заставит повернуть обратно...» Да... «Бомба»? Нет... «Красавица»?..

– Нет, какая же «красавица», четыре буквы. – Генерал снова вынул из кармана серебряный карандаш.

IV

Надежде Ивановне тоже было отведено отдельное купе: места в вагоне было гораздо больше, чем требовалось. Проводник давно аккуратно прибрал постель, нигде не было ни соринки. Оглядела себя в зеркало, все в порядке, разве только следы сажи в ноздрях. «Ничего, это не противно... Какой чудак Даkochи, – подумала она и пожалела, что была нелюбезна: он ведь ничего обидного не сказал, а нотации читает отечески. – Удивительно, как много стариков относится ко мне отечески. Но противного в нем нет ничего, напротив. Что же «напротив»? Не выходить же замуж за старика, глупости!..»

Она села у окна и вынула из несессера книгу. За окном было тускло, пасмурно: ни зима, ни весна. В такую погоду путешествовать и тоскливо, и приятно. «Немного скучно с ними... Скоро приедем, дальше что? Устроимся на новом месте, осмотрим достопримечательности, музеи, дальше что?» Дальше ничего не было. «Писать письма под диктовку, переводить бумаги? Я не хнычу, это полезное дело, кому-нибудь нужно его делать, и я ни на что другое рассчитывать не имею права. Весь багаж: стенография и три иностранных языка. Вышло отлично, лучше, чем можно было ожидать: сразу получила командировку, увижу свет, людей... Это, впрочем, только так говорится: людей посмотреть, себя показать. И смотреть будет, вероятно, некого, кроме Эдуарда Степановича, и себя показывать некому. Жаль, есть что показать, – хотела было она подумать, но не осмелилась: что за самохвальство! – Да, стенография как временное занятие, это ничего, но всю жизнь писать письма я не согласна. Что же делать, талантов никаких нет. Есть, правда, такие занятия, искусства не искусства, ремесла не ремесла, для которых особого таланта не нужно или самый маленький. Неужели же у меня и маленького не найдется? Стать декораторшей? Выжигать по дереву? Фарфор? Вкус есть, это все признавали, даже враги... Изучить можно года в два, только надо наконец выбрать. Нет, не пропаду, дело найдется...»

Следовало, очень следовало подумать и о другом, но это были неприятные мысли, и ей теперь не хотелось об этом думать. «Нет, потом, позднее...» Стала смотреть в окно: надо изучать Европу. Она никогда за границей не была; никаких ценных наблюдений до сих пор не сделала. «Что-то, кажется, приходило в голову там, на вокзале, что не стыдно будет сказать при умных людях. Не помню, надо бы записывать... Если правду говорить, такой уж разницы нет: и люди такие же, только одеты все гораздо лучше, мальчики, девушки. Там, на станции, это, конечно, были влюбленные... – Она вздохнула. – Ну, вокзалы у них другие, буфеты. У них это в провинции, как у нас в столице. Посмотрим еще Берлин... У нас все лучшее, разумеется...» – За окном стало падать что-то грязно-серое, пристававшее к стеклу и тотчас таявшее. Она засмеялась: «Хорош снег!..» И сразу ей стало весело, нет, конечно, все лучшее в России. «Это у них называется мороз, зима! – Ей радостно вспомнились недавно попавшиеся в книге, сразу запомнившиеся и понравившиеся стихи: «Полно! Что зима отнимет, – Все отдаст тебе весна!..» – Да, все отдаст, и работа будет, и жизнь будет, всем будет хорошо, и мне будет отлично...»

Раскрыла книгу – воспоминания известного артиста. Царь Николай II умолял поссорившегося с ним Далматова вернуться на императорскую сцену. «Вася, – говорил мне государь, – вернись на мою сцену! Все у меня есть: гвардия, кавалерия, артиллерия, армия, флот, а тебя нет. Возвращайся же!» «Нет!.. – говорю, – Ваше Величество! Обида горькая, не могу вас простить!» Далматов стоял, гордо подняв свою красивую голову...» «Как хорошо! – подумала Надежда Ивановна: «гордо подняв свою красивую голову». Вот бы и мне стать артисткой и так стоять. Но царей больше нет. А может быть, он тут и приврал...» Рассеянно перелистывала книгу то к концу, то к началу. «В 1910 году меня особенно потрясли два события: уход из Ясной Поляны Л. Толстого и смерть «света моего» – Веры Федоровны Комиссаржевской в далеком

Ташкенте. Масса вечеров, концертов и заседаний посвящено было двум этим грустным событиям...» «Ах, если б прожить, как Комиссаржевская», – с завистью подумала Надежда Ивановна и вернулась к уже прочитанным вчера страницам. «Это письмо есть в некотором роде аутодафе моего хорошего отношения к вам, – писала артисту Комиссаржевская. – Видите ли, я до боли ищуща всегда, везде, во всем прекрасного. Но есть одно свойство человеческое, не порок, а прямо свойство, исключаящее всякую возможность присутствия этой искры, понимаете, вполне исключаящее, – это пошлость... Что могло бы спасти вас? Одно, только одно – любовь к искусству. В Парижской галерее изящных искусств есть знаменитая статуя. Она была последним произведением великого художника, который, подобно многим гениальным людям, жил на чердаке, служившем ему и мастерской, и спальней...»

В книге был портрет автора в роли Гамлета: он полулежал в кресле, опустив голову на левую руку, далеко отставив жирную правую ногу в длинном, до колена, чулке. «Какие безумные глаза!» – с восторгом подумала Надежда Ивановна. Был и портрет Комиссаржевской, тоже с безумными глазами. «Разве вы в состоянии пережить то, что пережил этот скульптор? Разве вы ощущаете когда-нибудь что-либо подобное? Разве уносит вас невидимая могучая сила в волшебный мир необъятной фантазии, мир, исполненный поэтичными образами, неуловимыми видениями, освещенными каким-то дивным светом... Во-первых, вы рано вступили в эту ядовитую для молодой души атмосферу, а во-вторых, не было возле вас женщины-друга...» Надежда Ивановна вздохнула. Ее взволновали слова Комиссаржевской; но письма ей не очень нравились, хоть и страшно было критиковать столь гениальную женщину, которую боготворила вся Россия. «Зачем же она ему писала это и разве нельзя было сказать все это не так?... «Не было возле вас женщины-друга...» А я могу ли быть женщиной-другом? Ну, не при Сашке Павловском, конечно: это просто нахал-мальчишка, и не очень грамотный, и ему просто не надо отвечать на его последнее письмо, – а, например, при этом Дакочи, или Вислиценусе? Говорят, он страшный человек. И в самом деле, в нем чувствуется большая сила. Это так хорошо в мужчине, но отчего же ему пятьдесят пять лет? Отчего я не встретила его раньше?» Опять поползли мысли, которые она на время себе запретила, и опять она прибегла к тому же средству: стихи помогли и на этот раз. «Полно! Что зима отнимет, – Все отдаст тебе весна!..»

Послышались свистки, Кангаров приотворил дверь. «Детка, сейчас Берлин, Шлезигер бангоф», – сообщил он почему-то несколько встревоженным голосом. «Ах, уже Берлин!» – ответила она и тоже заволновалась. Бросила взгляд в зеркало, без самохвальства осталась довольна. Она в самом деле была очень хороша. «Красавица, прямо красавица», – восторженно говорили в Москве знакомые молодые люди. «Ну, красавица не красавица, нос можно бы сильно подточить, и нога большая, и чего-то ей в лице не хватает, но, конечно, она хорошенькая, если хотите, даже очень хорошенькая», – признавали подруги. Надежда Ивановна перетянула пояс и вышла в коридор. Там уже были все. Вислиценус взглянул на нее и, ничего не сказав, отвернулся к окну. Елена Васильевна зевнула.

– Скушно мне што-то, очень скушно, – сказала она. За окнами медленно проплыла огромная фигура полицейского. Поезд остановился, кондуктор, приложив руку к козырьку, почтительно отворил дверцы. В вагон, сгорбившись, поднялся высокий, худой, необыкновенно элегантный старый человек в монокле и в цилиндре. Кангаров едва удержался от восклицания. Это был титулованный дипломат, видный деятель германского министерства иностранных дел. В течение очень долгих лет – пока можно было – его часто изображали немецкие карикатуристы и почти всегда изображали неудачно: вместо карикатуры получался обыкновенный портрет, так как этот дипломат был по внешности живой карикатурой на дипломата. «Смотрите, Вильгельмштрассе прислала *представителя!*» – взволнованно прошептал секретарю Кангаров (он всегда говорил об иностранных министерствах: Вильгельмштрассе, Даунинг-стрит, Кэ-д'Орсе, Балль-платц). По правилам, правительство нисколько не было обязано посылать своего представителя для встречи посла, назначенного в другую страну и только проезжавшего

через Берлин. Но, очевидно, министерство иностранных дел сочло нужным проявить особую любезность – было и маленькое дело, – а высшему правительству можно было сказать, что этого требовал дипломатический этикет. Тем не менее лицо дипломата выражало некоторое смущение. На перроне он даже оглядывался не без робости по сторонам и по ступенькам поднялся тоже торопливее, чем обычно.

В вагоне произошла некоторая суматоха. Секретарь изменился в лице: «даже в этой дикой стране!..» Кангаров радостно пошел навстречу дипломату: они не раз встречались на разных международных конференциях. Он познакомил гостя с женой и с секретарем, с беспокойством взглянув на Вислиценуса, – «от этих людей из «Люкса» можно ждать чего угодно», – затем повел дипломата в свободное купе, заглянул в купе Наденьки и сказал «виноват», хотя там никого не было, был только открытый несессер.

Они сели, поезд тронулся. Кангаров ахнул, дипломат его успокоил: «Я хотел доставить себе удовольствие сопровождать ваше превосходительство до следующей станции». – «Ах, господи, я и забыл, что у вас в Берлине поезда проходят через все вокзалы», – сказал, сияя улыбкой высшей сладости, Кангаров. За окном, неестественно близко от поезда, неслись огромные, новые, незакопченные, как будто вчера выкрашенные дома. Дипломат осведомился о том, как они путешествовали и не очень ли устали, спросил о здоровье народного комиссара и высказал свое мнение о погоде. Он и говорил совершенно так, как говорят в левых пьесах левые актеры, изображающие «дипломатов-рамоликов»¹⁵. Кангаров отвечал с достойным видом, означавшим: «Да, конечно, мы враги, но корректные враги, и прежде всего мы выдававшие виды дипломаты...» Сгоряча он даже чуть не спросил о здоровье Гитлера, но вовремя спохватился и справился о здоровье министра иностранных дел. О деле было сказано лишь несколько слов, этого было достаточно: оно большого значения не имело. Поезд снова вошел в полутемную гигантскую сквозную клеть. Дипломат простился с посланцем и в коридоре низко изогнул худую спину перед Еленой Васильевной.

Вислиценус с усмешкой на него посмотрел. Он тоже в свое время встречался с этим дипломатом и даже как-то раз с ним поздоровался (нельзя было не поздороваться) в женевской кофейне «Бавария», в которой собирались делегаты Лиги Наций, журналисты и просто любопытные люди, желавшие посидеть в одной комнате со знаменитостями, – всегда может подвернуться и случайный фотограф. Дипломат, разумеется, его не помнил, но на всякий случай Вислиценус и смотрел на него с видом, отбивавшим охоту к возобновлению знакомства. «Незачем пожимать руку этим господам...» Он вспомнил, что несколько лет тому назад этот дипломат гнул спину перед самыми левыми министрами. Толстый, огромный, грубоватый Штреземан, с вечно налитыми кровью глазами, с распухшими жилами на лбу, по обычной своей манере природного вождя людей, народного трибуна и Наполеона мира (так его бессмысленно называли в «Баварии»), третировал дипломата довольно бесцеремонно. «Ну, теперь поклоняйся другим, – с ненавистью и почти с торжеством думал Вислиценус, – у вас ведь это называется: служить родине независимо от ее политического строя. Служи, служи, и жалованье идет, бог даст, новые чины выйдут... И наш тоже хорош, два сапога пара...»

Дипломат во второй раз сказал: «Gute Reise, Exzellenz»¹⁶ – и взялся за ручку двери. Дверь толкнули с другой стороны, в коридор вошел Тамарин. На этом вокзале будка с напитками оказалась как раз против их вагона; тотчас по остановке поезда он вышел на перрон и выпил наскоро чашку кофе, – данцигской водки в будке не оказалось, продавец даже посмотрел на него с недоумением и предложил рюмку вейнбрэнда. Увидев дипломата, генерал остолбенел. Оба изумленно глядели друг на друга с полминуты, затем ахнули и засмеялись. «Alle Wetter!»¹⁷

¹⁵ Старчески расслабленный, впавший в слабоумие человек. – *фр.* ramolli.

¹⁶ «Счастливого пути, ваше превосходительство» (*нем.*).

¹⁷ «Силы небесные!» (*нем.*)

– сказал дипломат не тем голосом, которым говорил за минуту до того, и с неожиданной силой хлопнул генерала по рукаву (это и представить себе было трудно). «Donnerwetter!»¹⁸ – проговорил, придя в себя, генерал.

Они когда-то хорошо знали друг друга, много раз встречались во времена доисторические – встречались в совершенно иной обстановке. Обоим стало и смешно, и весело, и стыдно. «Das heißt: «vingt ans après»¹⁹, – сказал дипломат, и в глазах у каждого из них выразилось: «Что? И ты тоже? Да, и я служу такой же сволочи, ничего не поделаешь, кончилось наше время...» Больше им сказать друг другу было нечего.

К обоюдному их облегчению, кондуктор заорал: «Einsteigen!» Дипломат слабо засмеялся, развел руками, показывая, что ничего нельзя сделать – видно, не судьба, крепко пожал руку Тамарину, оглянулся на улыбавшегося Кангарова и поспешно в третий раз произнес: «Gute Reise, Exzellenz...» Кангаров покосился на свиту: «хоть и смешно, что Exzellenz, а все-таки слышали?..» «Старые знакомые?» – полувопросительно сказал он с видом полного одобрения. Секретарь изучал дипломата, стараясь все запомнить: покррой пальто, перчатки, борты цилиндра. «Какой смешной старый немец!» – весело думала Надежда Ивановна. У Елены Васильевны был вид Марии Стюарт в сцене с королевой Елизаветой.

¹⁸ «Быть не может!» (нем.)

¹⁹ «Это значит: «двадцать лет спустя» (нем., фр.).

V

С вечерней почтой пришло письмо издателя: *memento mori*. Собственно, на первый взгляд ничего особенно неприятного в нем не было. Издатель несколько не был неучтив или нелюбезен: Луи Этьенн Вермандуа занимал во французской литературе такое положение, что нелюбезным издатели с ним быть не могли. Напротив, в письме было очень много комплиментов; их было даже, пожалуй, слишком много. Как всегда, начиналось оно с «*Cher Maître et ami*»²⁰, а кончалось «*Croyez, je vous prie, cher Maître, a mes sentiments admiratifs et cordiaux*»²¹, — все как следует. Издатель не отказывался от романа из древнегреческой жизни, который ему предлагал Вермандуа. Он только не соглашался на аванс в тридцать тысяч франков и неопределенно-уклончиво говорил, что речь могла бы идти лишь о гораздо меньшей сумме. Собственно, и в этом ничего особенно странного не было: издатели всегда торговались, и он с ними всегда торговался. Но в том, что письмо никакой суммы не называло, и в словах «гораздо меньшей» было неприятное и подозрительное. Правда, издатель ссылаясь на кризис и сообщал, что *ничьи* книги теперь не продаются; однако и в слове «ничьи» также было *memento mori*: как будто книги каких-то других писателей теперь должны были продаваться лучше его книг.

За скучным недолгим обедом старого одинокого человека Вермандуа беспристрастно, как бы со стороны, обсудил положение: да, издатель *хочет* приобрести его роман, но *не очень хочет*. Письмо дает понять, что роман выпустить можно, но что ни мир, ни издатель не погибнут, если роман выпущен не будет. «Гораздо меньшая сумма» — это пятнадцать тысяч франков; вероятно, можно будет выторговать и двадцать, но ни сантима больше. Лучше было с двадцати и начать, впрочем, тогда издатель предложил бы десять. Конечно, 20-тысячный аванс под роман означал верх бесстыдства... «Ну, не верх бесстыдства, но все-таки он, скотина, мог бы заплатить тридцать тысяч. Чего тут бояться? Моей смерти? В шестьдесят девять лет писатель, конечно, легко может умереть, не докончив обещанного романа. Но этот скряга выпустил семь моих книг, — подумал Вермандуа с усилившимся от гипотезы раздражением, — и если я умру, он так это раздует и добьется от критики такого потопа слез, что семь старых книг в три дня покроют его несчастный аванс...»

Обед был легкий, без мяса, без вина, без всего того, что он любил, — так в последнее пятилетие полагалось есть старым или пожилым парижанам, которые начинали внимательно следить за успехами медицины. Болезни, собственно, у него не было никакой. Вермандуа иногда бывал у знаменитого врача, но бывал так, как культурные люди ходят раза два в год к дантисту: зубы как будто в порядке, а все-таки пусть дантист посмотрит. При последнем визите, на прошлой неделе, врач, внимательно его осмотрев, ничего дурного не нашел, кроме разве легкого утомления сердца, — настолько легкого, что и сказано о нем было больше из приличия: все же пациенту шестьдесят девять лет. Желудок, легкие, печень, почки — все было в совершенном порядке. «Как у молодого человека», — весело сказал врач и с игривой улыбкой коснулся другого вопроса. «*Les femmes, cher Maître, les femmes... J'ai vaguement entendu dire que vous menez une vie de baton de chaise*». — «*Voyons, docteur, voyons, on exagère*»²², — ответил польщенный Вермандуа. «*C'est que vous n'avez plus vingt ans, ni même cinquante. Je ne vous dis que ça...*»²³ — сказал доктор строго, но с сочувственной улыбкой. Посоветовал поменьше есть, поменьше пить, не ужинать и принимать пилюли; давление крови шестнадцать, недурно бы довести его

²⁰ «Дорогой мэтр и друг» (фр.).

²¹ «Верьте, прошу вас, дорогой мэтр, в мои чувства восхищения и сердечной привязанности» (фр.).

²² «Женщины, дорогой мэтр, женщины... Я смутно слышал, что вы ведете рассеянный образ жизни». — «Оставьте, доктор, это преувеличение» (фр.).

²³ «Вам уже не двадцать лет и даже не пятьдесят. Ничего, кроме этого, я не говорю» (фр.).

до четырнадцати-пятнадцати. По всему было видно, что в пилюлях большой необходимости нет: если их и не принимать, то никакой катастрофы в пределах человеческого предвидения не ожидается. «Как было хорошо жить, пока вы, врачи, не научились измерять давление крови! Люди жили без всякого давления и не беспокоились», – сказал, смеясь, Вермандуа. Оказавшись вполне здоровым человеком, он мог себе позволить и некоторый скептицизм в отношении медицины. Знаменитый врач только пожал плечами: что ж на это отвечать? «*Mais oui, mais oui*»²⁴, – сказал он, как если бы разговаривал с очень умным и не по летам развитым ребенком, но с ребенком.

Не вступая в спор, он сел за стол и все подробно написал на вырванном из блокнота листке, на котором в левом верхнем углу были пропечатаны его ученые звания и титулы: черного мяса, дичи, острых вещей не есть, крепких напитков не пить... «А вино?» – с испугом спросил Вермандуа. «Вино можно, не в больших количествах, – разрешил врач и, подумав, добавил: – Красное. Белого не надо...» Вермандуа еще немного поторговался о разных других вещах. «Не лучше ли вместо этого съездить, например, в Ройа и проделать там курс лечения?» – нерешительно предложил он по бессознательной аналогии с тем, что суд иногда заменяет тюремное заключение денежным штрафом. «Нет, в Ройа незачем ехать, сердце только чуть-чуть утомлено, болезни никакой нет», – ответил врач, и Вермандуа с удовлетворением убедился, что доктор говорит *так вообще*, принимая в соображение его возраст, и ни на чем в отдельности особенно не настаивает: не будет катастрофы ни от черного мяса, ни от белого вина.

Это было очень приятно. До визита к врачу Вермандуа порою чувствовал смутное беспокойство: накануне, уронив за столом книгу, наклонился было, чтобы ее поднять, и подумал, что, быть может, в его возрасте, да еще после обеда, лучше бы не наклоняться и не делать резких движений: мало ли что может случиться? Теперь ясно было, что ничего случиться не может. Вермандуа говорил и думал, что очень устал от жизни. Но одно другому не мешало: усталость от жизни не мешала удовольствию от слов врача. «Вот триста франков, дорогой доктор, знаю, что это цена вашего времени, которое, я вижу, вы могли бы употребить и с большей пользой...» Ответ был ему заранее известен. «Не триста, а сто пятьдесят», – ответил доктор, отлично знавший порядки. «Но почему же?..» – «Потому что сто пятьдесят», – сказал врач с ласковой грубостью.

О делах, связанных с деньгами, люди обычно говорили с Вермандуа так, точно у него в банке было неограниченное число миллионов: оплата его славы как бы считалась естественно пропорциональной славе. Тем не менее ему в разных учреждениях и предприятиях, даже в гостиницах и некоторых магазинах, именно по причине славы полагалась скидка, он платил часть цены тем удовлетворением, которое полагалось испытывать от оказывания в его лице услуги французской культуре. Вермандуа развел руками, показывая, что он тронут, смущен, огорчен, но уступает тягостной воле почитателя. Пожал доктору руку несколько крепче, чем следовало бы по степени их знакомства, и, заплатив сто пятьдесят франков удовлетворением от услуги французской культуре, положил другие сто пятьдесят на стол.

«Теперь года полтора, а то и два, можно будет к нему не ходить», – рассеянно думал Вермандуа вперемешку с мыслями об издателе. Он лениво ел суп из овощей и какую-то славившуюся своей легкостью рыбу. Стряпала у него – довольно плохо и скучно – *femme de ménage*²⁵, старая, сердитая, гипнотизировавшая его своей сварливостью женщина, неизменно, с непонятной гордостью, при всякой жалобе напоминая ему, что она не кухарка и не *cordons-bleu*²⁶. Тон ее говорил, что согласилась она стряпать и вообще служить ему только под силь-

²⁴ «Годится, годится» (фр.).

²⁵ Горничная (фр.).

²⁶ Искусная повариха (фр.).

нейшим его давлением: в отличие от знаменитых врачей и от управляющих гостиницами старуха, видимо, не находила в общении с ним никакого удовольствия. Работала она у него целый день, до восьми вечера. За те же деньги можно было иметь нарядную молоденькую горничную. Иногда Вермандуа об этом и подумывал, но при мысли о том, что надо будет отказать старухе и иметь с ней объяснение, им наперед овладевали необычайная скука и усталость. «Не все ли равно? По крайней мере она не воровка... И не все ли равно, что есть: эту рыбу или лангуст, фазана, страбургский пирог? Труднее без хорошего вина».

Вино стало большой радостью в его жизни именно на старости лет. На званом обеде, который на днях давал в его честь богатый финансист, был изумительный Château Haut-Brion 1918 года. «Только у нас во Франции есть такие божественные вина, – сказал хозяин. – Знаете, оно своим совершенством, своей выдержанностью, своим *чувством меры* напоминает мне вашу прозу...» Вермандуа смущенно улыбнулся – значительная часть обедов в его честь всегда проходила в профессионально-смущенных улыбках – и подумал было, что, пожалуй, слова хозяина можно было бы как-нибудь, с переделкой, использовать в той сцене романа, где Анаксимандр пьет у богача фалернское: оно напоминает хозяину третью песню «Илиады». Однако находка показалась ему малоинтересной, и от мысли этой до самого десерта оставался неприятный осадок – потом он сообразил, что осадок вызван словом *фалернское* и именем *Анаксимандр*. «Да, да, опера, гадкая опера, как *все*, – морщась, подумал он и теперь. – А может быть, болван издатель именно того и испугался, что роман из древнегреческой жизни?..» Это новое соображение было приятно Вермандуа: значит, дело не в нем и не в его старости, а в сюжете: кому теперь интересна древнегреческая жизнь? По миру разливается волна дикости и невежества. «Ну, хорошо, волна дикости и невежества, – тотчас ответил себе он. – Но кого же она в конце концов снесет? Не Лувр ведь и не Национальную библиотеку, а того рафинированного банкира. Это я в силах перенести...»

На обеде хозяин старательно поддерживал высокий тон разговора. Стены кабинета, где гости сидели до появления человека в чулках, сказавшего: «*Madame, est servi*»²⁷, были от пола до потолка выстланы книгами; над великолепным письменным столом висел Матисс, купленный по скромному, вскользь брошенному замечанию владельца в ту пору, когда это было еще доступно, «до нынешних сумасшедших цен»; он показывал редкие издания в старинных переплетах и гладил переплеты с такой славной *гурманной* анатоль-франсовской улыбкой, что Вермандуа почувствовал острый припадок ненависти к этому человеку, который ежедневно пил или мог пить Château Haut-Brion 1918 года. Если б финансист был по крайней мере *унитан* и *жирен*, если б у него через жилет шла толстая золотая цепочка от часов, если б говорил он как невежественный *parvenu*, все это было бы еще выносимо. Но ничего такого в финансисте не было: хоть разбогател он в самом деле недавно и, как говорили, не слишком честным образом, вид у него, и костюм, и манеры, и даже анатоль-франсовская улыбка были вполне приличные. «Черт его знает, может, он и в самом деле любит старые книги...»

Нельзя было в порядке закона запретить богатым банкирам интересоваться искусством. Однако необходимость социальной катастрофы казалась Вермандуа на обеде особенно ясной. При случае он даже полушутливо как-то сказал вслух: «Да здравствует товарищ Сталин!..» В других устах эта фраза могла бы в доме банкира произвести удручающее впечатление. Но великий писатель произнес ее так кстати, так мило-шутливо, и вид его при этом был так не страшен, что все гости весело засмеялись. «Дорогой Вермандуа, выньте из зубов кинжал», – сказал хозяин, и все засмеялись снова. «Я, однако, уже стал «дорогой Вермандуа»... Что же, за свой Château Haut-Brion он имеет на это право», – подумал гость. Больше по долгу службы он произнес небольшое слово в защиту коммунизма – или нет, не коммунизма, а коммунистических идей: нисколько не отрицал, что в советской России не все еще идет хорошо; однако в

²⁷ «Кушать подано» (*фр.*).

этой молодой стране строится новая жизнь. Одна дама, недавно пробывшая целую неделю в Москве, подтвердила его слова: уж она-то, как каждому известно, нисколько не коммунистка – для Франции все это не годится, – но русский народ счастлив и стоит за новый строй, это она может засвидетельствовать совершенно определенно. Хозяин спорил, коммунизм чистейшая утопия, теперь все это немного отпадает и в России, там ведь растет самый настоящий панславизм, такой же, какой был при царях, – и сослался на завещание Петра Великого: *le testament de Pierre le Grand*. Лакей в чулках подал индейку; разговор несколько отвлекся, но возобновился к салату. Тон Вермандуа был приблизительно такой, что, хотя старый порядок везде сгнил или начинает гнить, но отдельные представители старого порядка могут быть совершенно очаровательными, высококультурными людьми, собравшими изумительные художественные коллекции, и мы это, конечно, принимаем во внимание, да и вообще во Франции до *этого* дело еще дойдет не скоро, к большому нашему огорчению. В каком-то таком смысле принимался даже и Château Haut-Brion 1918 года: последние версальцы брали у жизни все перед «божественной лихорадкой революции...»

Старуха подала не индейку, а компот из слив; вид ее говорил: «Да, и позавчера был компот из слив, и послезавтра будет компот из слив, сам велел, ну так и жри, что дают, и я тебе не *cordon-bleu*...» «Кажется, можно бы теперь смягчить режим», – нерешительно подумал Вермандуа. О компоте из слив много говорилось при его последней встрече с некоторыми писателями его поколения: каждого из них он знал лет сорок, и его утешением в старости было отчасти то, что они старились с такой же быстротой, как и он. Эмиль подробно рассказывал, как мало ест и как умеренно живет. Вермандуа слушал с легким недоверием и с завистью. «Верно, врет... А если и не врет, то все это ерунда: может, тот банкир с Château Haut-Brion их всех переживет. А если старый дурак Эмиль и проживет сто лет и напишет еще сорок книг, то от этого никому ни тепло ни холодно». Все же ему была неприятна мысль, что Эмиль, благодаря своему благоразумию, умеренности и компоту, может его пережить, и он предписал старухе подавать почаще компот из слив. При этом на ее лице – только гораздо более откровенно и бесстыдно – выразились точно такие же мысли: может, и с компотом послезавтра помрешь, и беды от этого большой не будет. На этот раз вид у нее был особенно вызывающий: «попробуй, скажи одно слово, я тебе скажу десять!» Вермандуа не принял вызова, послушно съел компот – что ж, это не так невкусно – и велел подать кофейник в кабинет. Лицо старухи показало, что за кофе она не отвечает.

После обеда Вермандуа надел бархатный халат, мягкие туфли, шапочку и с наслаждением подумал, что сейчас начинается лучшее время дня: больше, кажется, никто помешать не может. Он перешел в кабинет и поднял крышку американского стола; в его кабинете никаких ценных вещей не было – все приносилось в жертву удобству работы. Заглянул в радиотелефонический журнал и повертел ручку аппарата на камине. В Мюнхене шел Бетховенский фестиваль. Вермандуа любил работать под негромкую, глухую, еле слышную музыку. Урегулировал звук и прислушался – в кабинет вошла старуха, с демонстративным презрением к музыке растворила окно, и грохот сдвигаемых ставен раздавил бетховенскую фразу. «Такова и жизнь, – подумал было Вермандуа, но сам устыдился слабости своей метафоры: – Не становлюсь ли и я глуп, как Эмиль?..» Он вздохнул и кротко расплатился с поденщицей – это было последнее испытание за день. Из Мюнхена донеслись оглушительные рукоплескания.

Утаенное от врача кофе он готовил в усовершенствованном приборе из двух соединенных трубкою стеклянных колб, как после войны стали его готовить странно одетые восточные люди в лучших ресторанах Парижа. Процесс варки еще увеличивал наслаждение от напитка. Так и на этот раз он с особым удовольствием зажег лампочку под нижней колбой и долго смотрел на воду: как стали подниматься пузырьки, как потом все пришло в движение, что-то задрожало в трубке, и из верхней колбы вернулась в нижнюю коричневая жидкость.

Мысль об ответе издателя теперь вызывала у него меньше раздражения и тревоги. Конечно, все было в сюжете. Об этом свидетельствовал и унылый вид, с которым, при их последней беседе, издатель, слушая его предварительное небрежное сообщение о романе, повторил: «Très intéressant, Maître...», «Vous allez créer un chef-d'œuvre, Maître...»²⁸.

Вермандуа снова пробежал письмо. «...Vous devinez, cher Maître, que ce n'est pas l'envie qui me manque...» – «...la situation empire tous les jours, et je ne vois décidément pas comment...» – «...la crise m'impose donc la tâche pénible de...»²⁹. «Да, это значит: пятнадцать тысяч...» Можно было, конечно, обратиться к другому издателю. Но если б и тот не предложил лучших условий, то возвращаться к первому было бы особенно неприятно: непонятным образом издатели неизменно узнавали о самых секретных переговорах авторов с другими издателями. А главное, начинать переговоры заново было необычайно скучно, еще скучнее, чем объясняться со сварливой поденщицей. «Ничего не поделаешь, – подумал он, – придется написать, что я согласен на двадцать тысяч...»

Он достал приходную книгу и сделал краткий подсчет: очень точно и аккуратно записывал в книжку все свои поступления; расходов не записывал – в этом не было надобности: у него никогда ничего не оставалось, и расход, следовательно, был равен доходу или даже несколько его превышал, так как были долги: не дружеские – к денежным услугам он никогда не прибегал, – а авансы. Счетная книга его не утешила; никаких других сметных предположений не было, авторское отчисление от книг и ненавистные статьи в газетах, больше ничего. Свести концы с концами в этом году было почти невозможно. «Разве если продать те фильмовые права? Но ведь это арабские сказки...»

Из товарищей и сверстников Вермандуа одни говорили, что он загребает деньги: «Des milles et des cents, cher ami: les Américains lui payent des sommes folles!...»³⁰ Другие, напротив, утверждали, что он нуждается и чуть только не голодает: «La dèche, vous dis-je, le dèche poire!...»³¹ Вермандуа в среднем зарабатывал около ста тысяч франков в год. Но из них первая его жена получала восемнадцать тысяч, а вторая, с которой он разошелся, уже будучи сравнительно обеспеченным человеком, – двадцать четыре тысячи. Эту расходную статью уменьшить было невозможно.

Очень трудно было сократить и собственные расходы: он уже произвел все сокращения, совместимые с его положением. Казалось бы, положение Вермандуа в обществе не имело ничего общего с деньгами; оно всецело основывалось на том, что он был знаменитый писатель – один из тех пяти или шести человек, которых при перечислении лучших писателей Франции почти наверное называл бы каждый образованный француз. Принимать его считали для себя большой честью богачи, совершенно не интересовавшиеся его заработками. Однако необходимым условием для этого был известный минимальный уровень расходов. Более бедный образ жизни скоро поколебал бы и его общественное положение, и даже, как ни странно, его цену в литературе: издатели и редакторы разговаривали бы с ним иначе, если б изредка не читали в светской хронике газет, что он обедает у послов и герцогов, а на курортах останавливается в самых дорогих гостиницах. Собственно, больше для этого он еще и выезжал в свет, бесконечно ему надоевший, и для этого же отбывал в августе две недели в лучшей гостинице Довиля, проклиная огромные (несмотря на полагавшуюся ему скидку) расходы. Все это было чрезвычайно глупо; но глупостью жизнь никак не могла удивить Вермандуа.

«Что же еще можно сберечь? Переехать на другую квартиру?» – угрюмо спросил себя он и содрогнулся от ужаса: при двадцатилетней привычке, при библиотеке в шесть тысяч томов

²⁸ «Чрезвычайно интересно, мэтр...», «Вы создадите шедевр, мэтр...» (фр.).

²⁹ «...Вы догадываетесь, дорогой мэтр, это не то, чтобы у меня отсутствовало желание...» – «...С каждым днем ситуация ухудшается, и я не вижу, каким образом...» – «...Кризис налагает на меня тягостную задачу сделать...» (фр.).

³⁰ «Сотни и тысячи, дорогой друг, американцы платят ему сумасшедшие деньги!...» (фр.).

³¹ «Нищета, говорю вам, черная нищета!...» (фр.).

это была бы настоящая катастрофа. Автомобиля у него больше не было: автомобиль был продан в самом начале кризиса, что было первым и немаловажным ущербом для общественного положения: «capitis deminutio»³², называл он это с усмешкой. Приемы у себя, даже дешевые и потому в последнее время очень принятые «коктейль-парти», он устраивал теперь чрезвычайно редко, «вероятно, друзья уже зовут свиньей...». Секретарь?

Обязанности секретаря при нем с недавнего времени исполнял очень молодой человек, приходивший всего на два часа в день. Вермандуа платил ему такие гроши, что иногда неловко было смотреть в глаза этому юноше, который, верно, и обедал не каждый день. «Если продам фильмовые права, надо будет дать ему наградные: тысячу... нет, пятьсот франков, – нерешительно подумал он: шансы секретаря на наградные были невелики. – Со всем тем он неприятный и не вполне нормальный молодой человек...» «Со всем тем», собственно, ничего не знало; но секретарь своей озлобленностью, даже превышавшей его собственную озлобленность, несколько раздражал Вермандуа. «Не надо, впрочем, придавать значение его способу выражаться: когда он называет кого-нибудь сволочью или мерзавцем, то это лишь означает, что он не чувствует симпатии к этому человеку...» Молодой секретарь действительно чрезвычайно часто говорил о самых разных людях: «crapule», «sale crapule», «canaille», «vieille canaille»³³, и, по-видимому, эти выражения у него имели лишь стилистическое значение. «Меня он, верно, называет «vieille canaille», – решил Вермандуа и хотел было рассердиться, но не рассердился: ему было жаль голодавшего секретаря.

Ненадолго он остановился мыслью еще на каких-то видах экономии. Нет, ничего сократить нельзя, кроме разве пустяков: уговорить Мари, чтоб приходила не на восемь, а на шесть часов, и выдержать ее рычания? Перейти к другому портному? При двух костюмах в год это даст гроши, и опять capitis deminution... Вермандуа только вздохнул. Шестидесят тысяч в год именно и были тем последним минимумом трат, при котором он мог жить в Париже. «Если аванс издателя составит двадцать тысяч, то закончить год без дефицита немыслимо...» Он заглянул в чековую книжку. На текущем счету оставалось девять тысяч, это было все его состояние. «Нет ни одного поденщика, который жил бы так глупо и за полвека работы ничего не скопил бы... Да, катастрофа, настоящая катастрофа...» Свести концы с концами можно было бы только в случае продажи фильма или смерти второй жены, отравившей ему пять лет существования. Первой жене он смерти не желал: о ней у него сохранилось скорее приятное воспоминание. «Впрочем, пусть живет и та дура, лишь бы только пореже писала свои идиотские письма...» Ему стало совестно, что могла у него проскользнуть и такая мысль, и с новой силой поднялась все росшая в нем с годами злоба против общественного строя, который, несмотря на его очень высокое положение, на званные обеды в его честь, на Château Haut-Brion (хотя бы чужой) и на шесть тысяч книг, был, по существу, так безжалостен с ним, старым, знаменитым, всю жизнь много работавшим человеком.

Пламя лампочки пожелтело, на дне колбы появилось черное бархатистое пятно. Он поправил фитилек и повертел лампочкой под колбой. Жидкость взбежала вверх и вернулась совершенно черной. Теперь кофе был по крепости прямо губительный для здоровья, но для чего себя беречь при таком общественном строе? Все же приятно вспомнились слова знаменитого врача: «Все в порядке, все, как у молодого человека...» «И самом деле, какие же признаки старости? Память такая же, как была: превосходная. Творческая способность? Не ослабела... Или почти не ослабела... Женщины?...»

Женщины теперь были главным интересом его жизни – частью со стыдом, частью с удовольствием он думал, что не нужны ему ни слава, ни почет, ни литература, что ему нужны только женщины; на улице, в автобусах, в театре он не пропускал взглядом ни одной молодень-

³² «Отсечение головы» (лат.).

³³ «Сволочь», «грязная сволочь», «каналья», «старая каналья» (фр.).

кой девушки, и ему приходили в голову мысли, которых он не знал, когда был молод сам, или, по крайней мере, так ему казалось. «Только теперь стал понимать, что это такое... И только теперь вообще стал понимать, что такое жизнь... Именно теперь, когда ее осталось так мало...»

Короткий остаток жизни, конечно, надо было бы провести возможно разумнее. Вермандуа два раза два в год и решал начать новую жизнь: ежедневно вставать в шесть часов утра, после легкого завтрака гулять в Булонском лесу, затем садиться за работу, а вечером читать настоящие книги и ложиться часов в одиннадцать. Хорошо было бы также, чтобы был загородный дом – хоть бы какая-нибудь старая лачуга из трех комнат; чтобы скопилась сколько-нибудь приличная сумма на текущем счету, а не гроши, оставляемые в банке из приличия, дабы иметь возможность получать деньги по отчеркнутым чекам; чтобы вместо старухи служила молодая хорошенькая горничная, которой он говорил бы «дитя мое» и которая была бы ему предана как собака.

Из планов новой жизни также неизменно ничего не выходило: когда рано вставал, туфли оказывались невычищенными, свежего хлеба и кофе не было, и в Булонский лес идти было нельзя, так как шел дождь, да и ничего хорошего в лесу нет. Работал он когда придется, чаще всего по вечерам, поддерживая себя крепким кофе, засыпал очень поздно и вставал в двенадцатом часу утра. «Да, во всей Франции нет человека, живущего столь нездорово и неразумно...»

Он вздохнул и принялся за работу. Сначала надо было проделать механические дела: это втягивало в труд – потом легче было приняться за настоящее. Важных писем, к счастью, не оставалось: все было вчера продиктовано секретарю. Но на столе лежали две книги – книги третьего столбика.

Вермандуа получал еженедельно от двадцати до сорока книг. Те из них, которые принадлежали авторам заведомо бездарным или совершенно никому неизвестным («если бы книга чего-нибудь стоила, было бы слышно»), откладывались в первый столбик. Секретарь аккуратно отрывал первую страницу с авторской надписью и относил книги первого столбика букинисту; этот небольшой доход предназначался на благотворительные дела: деньги отдавались звонившим чуть не ежедневно женщинам в полумонашеских платьях – просто поразительно, сколько существует в Париже полезных учреждений, нуждающихся в его помощи. Авторам же секретарь рассылал карточки Вермандуа с пожеланием большого успеха. Во втором столбике лежали книги, в которые следовало заглянуть (можно и не разрезая): они тоже были почти наверное никуда не годны, но их авторам, по рангу, надлежало ответить не на карточке: секретарь писал на машинке письма и представлял их ему для подписи. На книги третьего столбика отвечал сам Вермандуа, и это было особенно скучно, потому что предварительно требовалось разрезать книгу (поручать такую работу секретарю было неловко: все-таки бакалавр).

На этот раз третий столбик состоял из двух книг; сверстников Вермандуа, знаменитых писателей, становилось все меньше. Он решил вторую книгу отложить на следующий день: может, завтра, бог даст, ничего не придет. Разрезал толстый том и, перелистав книгу, быстро набросал письмо. «...Как хороша вся шестая глава!.. Да и весь образ Антуана!.. О конце я не говорю: это шедевр, шедевр даже для вас, дорогой друг. Не желаю успеха: когда же у вас успеха не было?...»

«Кажется, я еще ему этого не писал», – неуверенно подумал Вермандуа. Похвалы образу Антуана его не беспокоили – по долгому опыту он знал, что писать такие вещи можно совершенно спокойно: какую бы главу или какое бы действующее лицо ни назвать, восторженные похвалы несколько автора не удивят. Собственно, проще, чем лгать, было бы прочесть книгу. Но Вермандуа не чувствовал себя в силах читать без необходимости новые художественные произведения, хотя бы и хорошие; и он лишь освежал в памяти прочитанное прежде – как дамы, примирившиеся со старостью, стараются лишь обновлять и переделывать приобретенный в молодые годы запас дорогих, не очень старящихся вещей.

Не ответить вовсе на присылку книги с надписью Вермандуа считал невозможным. Вежливость была в его природе. Газетной брани он не выносил; особенно неприятно его задевала литературная грызня, в которой, в отличие от грызни политической, непосредственные материальные интересы обычно отсутствовали. Грубые рецензии приводили его в раздраженное недоумение: они явно не могли быть полезны ни литературе – время и без рецензий все ставит на место, – ни публике – она следила за этим совершенно так, как зеваки следят за уличной дракой, – ни тому, о ком писалась статья, ни тому, кто ее писал; почти все критики выпускали иногда и книги, почти все писатели порою занимались критикой, всякая грубая рецензия рано или поздно, явно или прикрито, но неизменно и неуклонно – с силой закона природы – вызывала другую, благодарственную, столь же грубую. Для чего люди, иногда ученые и талантливые, занимались этим нелепым и бесполезным, никому не нужным делом литературных репрессалий, было совершенно непонятно. Настоящий идейный спор мог быть вполне учтивым. «Все-таки не созданы же мы для того, чтобы отравлять друг другу столь короткую, столь и без того тягостную жизнь. А если и созданы, то с этим надо бороться как с пороком, да и едва ли это может происходить от дурного биологического устройства людей. Вот ведь мне, например, это совершенно несвойственно...» Его устные, письменные, печатные похвалы не имели никакого значения, и им не верил никто, кроме того лица, к которому они относились. Но этого было вполне достаточно.

Он запечатал письмо и с досадой заметил, что под пресс-папье лежали еще какие-то оставленные для него секретарем листки. Заглянул: анкета, исходившая от очень мало распространенного, почти никому не известного, но бойкого журнальчика. Люди хотели бесплатно от него получить то, за что полагалось платить ему деньги или, по крайней мере, рекламой. Это с их стороны было, собственно, так же неприлично, как обращаться за юридическим советом к случайно встреченному на улице знакомому адвокату. Анкеты приходили не столь часто, как книги, но все-таки нередко. Молодой секретарь даже нагло советовал завести печатные открытки, как у Куртелэна.

«M. Georges Courteline a reçu votre enquête sur... Il a l'honneur de vous informer qu'il s'en f... complètement»³⁴. На листке анкеты рукой секретаря было написано: «Formule 2, n'est-ce pas, cher Maître?»³⁵ В вопросе этом, и в почерке секретаря, и особенно в словах «cher Maître», тоже было нечто наглое. Но, по существу, он был прав: незачем ссориться и с неизвестными журнальчиками. Вермандуа написал: «Mais oui». Это значило, что секретарь должен ответить: за отъездом г. Луи Этьенна Вермандуа ответ на столь интересную анкету, к сожалению, дан быть не может.

Под листком анкеты лежало еще два сколотых зажимом листка. Вермандуа заглянул и с досадой выругался. Это было настоятельное приглашение принять участие в митинге протеста против возмутительных действий чилийского правительства. Он в самом деле как-то обещал выступить на митинге, но не думал, что его обещание будет понято так буквально: устроители должны были сообразить, что он дает свое имя лишь для украшения афиши. К письму был приложен отбитый на машинке секретарем проект ответа. Вермандуа быстро его пробежал. В ответе сообщалось, что он внезапно заболел, прийти, к своему великому сожалению, не может, шлет всем товарищам привет и вместе с ними от глубины души протестует против варварских действий правительства Чили. Ответ был составлен недурно, но опять-таки в тоне, в выражениях, в уверенности этого мальчишки, что cher Maître на митинг не пойдет, было нечто наглое, издевательское и подмигивающее. Однако и тут секретарь был прав. Вермандуа взял перо и

³⁴ Г-н Жорж Куртелэн получил ваш запрос, касающийся... Он имеет честь проинформировать вас, что ему напл... совершенно» (фр.).

³⁵ «Формула 2, не так ли, дорогой мэтр?» (фр.)

исправил немного стиль. Вместо «flétrir ces actes abominables» написал: «flétrir ces actes que la conscience du monde civilisé ne saurait accepter»³⁶.

Теперь механическая работа была на этот вечер кончена.

³⁶ «Заклеймить эти отвратительные действия» (...) «заклеймить эти действия как несовместимые с нормами цивилизованного общества» (*фр.*).

VI

Вермандуа вынул из ящика картонную папку: в ней лежали тонкие записные книжки, склеенные, перечеркнутые – поправка на поправке, связанные зажимами листы: материалы к роману из древнегреческой жизни. Издателю он говорил, что «роман, в сущности, готов», и с улыбкой, берущей сказанное в кавычки, ссылаясь на слова Расина о «Федре»: «C'est prêt, il ne reste qu'à l'écrire»³⁷. Но про себя Вермандуа знал, что готово лишь очень небольшое, хоть план тщательно разработан, выписки сделаны, характеры намечены. Мало того, едва ли не впервые в жизни ему было неясно, как приступить к работе: это был его первый опыт исторического романа. Он хорошо знал греческий язык и прочел не менее сотни книг о древнем мире – трудность была не в недостаточном знании эпохи. «Хуже всего будет, если получится головная, вымученная книга...»

Ясна была только основная мысль. Мир три тысячи лет находился в состоянии варварства и все три тысячи лет смутно это чувствовал. Выйти из этого состояния мир не мог и не может вследствие дурного от природы устройства людей. Но во все времена лучшие или наиболее требовательные люди старались найти такую точку зрения, по которой варварство либо было бы не варварством, либо признавалось бы временным состоянием человеческого рода. В течение многих веков человечество терпеливо сносило полновластное царство зла, потому что смотрело на земную жизнь лишь как на временное, очень несчастное состояние перед переходом к вечному блаженству. Вера эта стала отпадать сто или, быть может, двести лет тому назад, и ее наспех, неполно, неумело, неудачно заменили учением о прогрессе. Теперь, с 1914 года, и это учение оказалось совершенно несостоятельным и даже просто неумным: мир вступил в полосу катастроф и вернулся или возвращается к состоянию исконного варварства. Однако за три тысячи лет было как будто одно исключение: маленький народ в восточной части Средиземного моря, рано и бесследно исчезнувший греческий народ, который, по непонятной биологической случайности, породил непропорциональное, неестественное или сверхъестественное число гениальных людей. Люди эти авансом, наскоро, и в теории и на практике, проделали весь позднейший опыт мира, и проделали его с таким блеском, с такой концентрацией во времени и в пространстве, что основные проблемы человеческого бытия и теперь лучше всего изучать именно на них, на их истории, на их мифах. Здесь начиналось изложение нового взгляда на эти вопросы – Вермандуа казалось, что он по-новому понял Древнюю Грецию.

С камина раздалась фраза «стучащей судьбы». Он улыбнулся ее соответствию мыслям, которые его занимали. «Всегда надо было бы писать под музыку Бетховена», – подумал он и с неприятным чувством сам себе ответил, что в шестьдесят девять лет не стоит обзаводиться новыми привычками работы. «И писать тоже нельзя по-новому, это самый худший вид снобизма...» Перед каждой новой книгой ему хотелось написать ее совершенно по-иному – так, как он никогда не писал и как никто не писал до него. Из этого ничего не выходило: все новое неизменно оказывалось старым – «ново лишь то, что забыто». Прогресс искусства сводился только к легкому подталкиванию вперед того, что было сделано поколениями других людей; самые великие новаторы именно так и поступали, а те, которые хотели казаться новаторами своим современникам, забывались обычно через двадцать лет или уже через десять становились совершенно невыносимыми. «Вот и в этой книге я чуть-чуть подтолкну искусство исторического романа. Но что такое исторический роман?..»

Перед началом работы он собрал несколько книг, считавшихся лучшими в этой области. Возле его письменного стола стояла вращающаяся этажерка с книгами, которые могли ему понадобиться. Здесь теперь были ученые труды по греческой истории, философии, быту; были

³⁷ «Она готова, остается только ее написать» (фр.).

также знаменитые исторические романы, не имевшие отношения к Греции. «Что, если все-таки заглянуть? – подумал он и наудачу взял книгу. «Война и мир» – нет, это ни к чему...» Толстого он особенно избегал по разным причинам, а когда читал, то обычно кончал чтение со смешанным чувством восторга и подавленности: «Так не напишешь... Зачем же читать книги, отбивающие охоту к литературной работе? Но какой «Война и мир» *исторический* роман? – сказал он себе. – Его отец участвовал в сражении под Москвой, он описал в *историческом* романе всю свою семью...» Взял другую книгу, «Девяносто третий год». «Что скажет папа Гюго?.. Вот это может оказаться более подходящим. Впрочем, отец этого тоже участвовал в событиях романа... С отцами мне положительно не везет. Мой отец никогда не встречался с Алкивиадом...» Он тотчас пожалел, что настроился на исторический лад: ничего не могло быть хуже для гигиены литературной работы. Раскрыл книгу наудачу. – «Audessus de la balance il y a la lyre. Votre république dose, mesure et régie l'homme; la mienne l'emporte en plein azur. C'est la différence qu'il y a entre un théorème et un aigle. – Tu te perds dans le nuage. – Et vous dans le calcul. – Il y a du rêve dans l'harmonie. – Il y en a aussi dans l'algèbre. – Je voudrai l'homme fait par Euclide. – Et moi, dit Gauvain, je l'aimerais mieux fait par Homère...»³⁸ Вермандуа зевнул и засмеялся, стараясь вспомнить, кто эти люди. «Да, Симурдэн фанатик, а Говэн гуманист. Фанатик казнит своего воспитанника гуманиста... А до того должен быть процесс...» Он заглянул в главу процесса и прочел защитительную речь. То, что в речи, произнесенной в 1793 году, была ссылка на сражение при Флерюсе, бывшее в 1794 году, его развеселило. «Кажется, критики этого и не заметили... Папа Гюго ничего не знал...» Он перелистал книгу. «...Et la femme qu'en faites-vous? – Ce qu'elle est. La servante de l'homme. – Oui. Aune condition. – Laquelle? – C'est que l'homme sera le serviteur de la femme. – Y penses-tu? s'écria Cimourdain, l'homme serviteur! Jamais. L'homme est maître. Je n'admets qu'une royauté, celle du foyer. L'homme chez lui est roi. – Oui, a une condition. – Laquelle? – C'est que la femme y sera reine...»³⁹ Ему стало весело. «Нет, все-таки у меня диалог будет не хуже, чем в этом шедевре... Разница в том, что его люди могли так говорить, хоть, конечно, никогда не говорили...»

Совершенно не давался ему стиль романа. В черновиках речь древних греков выходила либо нестерпимо фальшивой, либо нестерпимо дешевой, а чаще всего и фальшивой, и дешевой одновременно. Вермандуа писал фразу древнего грека Анаксимандра, и ему казалось, что этот древний грек уже был в сотне других, очень плохих романов и везде говорил именно эту *аттический*, а на самом деле банальную и плоскую фразу. Он знал, что тут психологический обман, происходящий от несоответствия слова сказанного слову задуманному: все свое всегда кажется хуже, чем чужое, – в чужом романе та же фраза его не задела бы. «Но как понять душу людей, живших две тысячи лет тому назад? Я не знаю секретов нашего правительства, болгары или датчане мне чужды почти так же, как эскимосы, а я имею наглость утверждать, что нашел какое-то новое объяснение «тайны Древней Греции»! Новое объяснение стоит старых, да, собственно, никакой тайны в Греции и не было, а были чужие, на редкость одаренные люди, непонятные нам по отдаленности времен... Но что же делать? Отказаться от романа из древнегреческой жизни?..»

³⁸ «Ведь лира выше весов. Ваша республика взвешивает, отмеряет и направляет человека; моя возносит его в безбрежную лазурь. Вот где разница между геометром и орлом». – «Ты витаешь в облаках». – «А вы погрязли в расчетах». – «Не пустая ли мечта эта гармония?» – «Но без мечты нет и математики». – «Я хотел бы, чтоб творцом человека был Эвклид». – «А я, – сказал Говэн, – предпочитаю в этой роли Гомера...» (*фр.*) – В. Гюго. Собр. соч. в 15 т., М., 1956, т. 11, с. 377. – *Перевод Н.М. Жарковой.*

³⁹ «...А женщина? Какую вы ей отводите роль?» – «Ту, что ей свойственна... Роль служанки мужчины». – «Согласен. Но при одном условии». – «Каком?» – «Пусть тогда и мужчина будет слугой женщины». – «Что ты говоришь? – воскликнул Симурдэн. – Мужчина – слуга женщины! Да никогда! Мужчина – господин. Я признаю лишь одну самодержавную власть – власть мужчины у домашнего очага. Мужчина у себя дома король». – «Согласен, но при одном условии». – «Каком?» – «Пусть тогда и женщина будет королевой в своей семье...» (*фр.*) – В. Гюго, там же, с. 379.

На изучение эпохи было потрачено столько труда, на обдумывание книги ушло столько душевных сил, что бросить работу было почти немислимо: «Или съездить в Грецию, набраться впечатлений?..» На мгновение его заняла эта мысль. Несмотря на безденежье, съездить в Афины было не так трудно. Можно было бы поговорить с министром. То, что Вермандуа при-мыкал к коммунистической партии, нисколько не мешало казенной командировке – напротив, министру будет приятно засвидетельствовать, что он совершенно беспристрастен, знает толк в искусстве и умеет ценить людей, подобных Вермандуа, к какой бы партии они ни принадлежали. Не испытывал от этого неловкости и он сам. «Можно и сговориться с какой-нибудь газетой...» Богатые газеты тоже охотно бы приняли его предложение, хоть в своем политическом отделе громили коммунистов. Но самая мысль о новых статьях, о новых обязательствах перед газетами, о новых авансах, которые надо было бы погашать заранее обусловленным числом строчек, возбуждала ужас и отвращение у Вермандуа: газетные статьи были проклятием его жизни. «Ну, хорошо, поехать в Грецию... Грязноватая гостиница, тяжелая непривычная пища, плохое вино, прозаический провинциальный народ, живущий на самом священном месте земли... Допустим, что я не заболею, что ничего дурного не случится, какая польза для романа от наблюдений над этой шуточной историей? Да, но *то же* солнце, *то же* небо, *те же* желтоватые камни... Я все это видел когда-то... Сорок лет тому назад, как тогда полагалось, на Акрополе прочитал ренановскую молитву. И ее, верно, лучше теперь не перечитывать, как «Девяносто третий год»...»

Он постарался вызвать в памяти акропольский холм, облитые ярким белым светом камни, свежий ветерок, дувший со стороны моря. Все это было так прекрасно... Но теперь, через сорок лет, вспоминать об этом было тоскливо и страшно. Бетховенская фраза с камина твердила все свое: *умрешь, нельзя умереть, вцепись в жизнь, вбей о себе память в души других людей...* «Нет, об этом не думать!..» В последнее время он все чаще говорил себе: «Нет, об этом не думать», – приблизительно потому же, почему в обществе старался быть особенно любезным, чтобы не дать возможности заметить раздражение, злобу, отвращение, которые в нем вызывали почти все люди.

Вермандуа поставил на полку «Девяносто третий год» и взял – уже не наудачу – «Боги жаждут». От этой книги, собственно, и ждать было нечего: он недолюбливал Анатоля Франса. «Хуже всего было бы бессознательно поддаться его влиянию и построить настоящую, серьезную, быть может, последнюю книгу на шуточках, на остроумии, на цитатах, на стилистических красотах. Тогда, право, уж лучше писать статьи об Идене и Муссолини...»

Исторические романы знаменитых авторов были, собственно, им собраны на этажерке именно для того, чтобы порою сопоставлять свое с чужим и в зародыше убивать возможное, произвольное сходство, бессознательно появляющееся по далеким воспоминаниям, – эта опасность, он знал, грозила всякому писателю: культура, как и некультурность, имеет свои неудобства. Но теперь в Анатоля Франса он заглянул в поисках той мгновенной, бесследной искры, которая могла бы положить начало его собственной работе. Стал читать – ему не понравилось. Эварист Гамлен родился от героев Гюго, но родился по закону контраста – как его собственный Анаксимандр мог родиться по отталкиванию от действующих лиц Анатоля Франса. «Да, да, соловьиное пение, другое соловьиное пение, но тоже соловьиное пение. Глупо, однако, петь соловьем на седьмом десятке, когда в крематории уже начинают зажигать для тебя печь! В сущности, это *faux et usage de faux...*»⁴⁰ Прочел еще несколько страниц, конечно, тут все было несравненно тоныше и умнее, чем в романе Гюго, но это не было жизненной правдой, не было и правдой революции. «Его мудрый откупщик недалеко ушел от Говэна и Симурдэна... Он гордится тем, что не дает исторических сцен?.. Люди в пору террора едут за город, это значит: «смотрите, смотрите, я и не думаю показывать вам, как Робеспьер разговаривает с Дантоном и

⁴⁰ «Фальшь и обычай фальши» (фр.).

Маратом, нет, я показываю вам, как жили в пору террора средние люди». Но ведь и это тысячу раз использовано, и опера не становится лучше, если в нее вставить отрывок из бытовой комедии. Престарелая крестьянка, встреченная на пикнике парижанами, не верит, что король казнен, – «да это недурно»... Он лениво прочел страницу – и ахнул, вдруг задержавшись глазами на одной строчке: «...Dans les bras de sa mère, ele avait vu passer Louis XIV»⁴¹. «Как хорошо! Так коротко и так необыкновенно хорошо! – подумал Вермандуа. – Какая простота и какая сила слова! Я, вероятно, тут не удержался бы и описал бы, хоть кратко, поезд Людовика XIV. Он же магической расстановкой слов, рассчитанным напевом фразы дает все: и поезд, и Людовика, и зрелище королевского могущества в дни его высшей славы, и душу крестьянки, запомнившей это на всю жизнь, – все в одной строчке: «Dans les bras de sa mère, elle avait vu passer Louis XIV»... Изумительно, но такие вещи замечает и понимает только один читатель из тысячи, так что цель все равно не достигается...»

С досадой он закрыл книгу. «Faux et usage de faux, сделанное с мастерством необыкновенным. Во всяком случае, роман из древнегреческой жизни так написать нельзя: быт пикника во времена революции был такой же, как теперь, и все эти Робеспьеры и Мараты не Анаксимандры. Я порою проклинаю себя, когда нужно писать о современных парижанах, о людях, к которым я принадлежу, которых знаю во всех подробностях их жизни, быта, мыслей, слов. Я почти не в состоянии написать, что месье Дюран сел в автомобиль и поехал в Елисейские Поля, так как это говорилось в тех же словах сто тысяч раз другими. Но мне еще мучительнее сказать то же самое «по-своему», «образно», «оригинально», так как это тоже очень легко и общедоступно, но зато еще и претенциозно, вызывает улыбку и отдает ремеслом. А тут я хочу писать о «греке N.», о жизни, которую представить себе невозможно, о людях, которые были совершенно отличны от нас, по-иному чувствовали, думали, говорили! И все дело сводится к отысканию стилистических приемов – как все это гадко, какая скверная вещь литература!...»

Столь ему знакомое создание фальши, ненужности, неестественности искусства теперь, при работе над греческим романом, стало для Вермандуа почти нестерпимым. «Но ведь и *естественность* тоже иллюзия. В двадцать лет естественно было писать стихи, и все-таки я в те времена много думал о том, как бы найти и использовать фокусы, которых не было ни у Малларме, ни у Верлена, ни у Рембо. И так поступают все настоящие художники – да, вот и он, Бетховен, постоянно об этом думал, – а те живописцы, музыканты или писатели, которые об этом не думают и вообще не думают о природе искусства и пишут, «подчиняясь вдохновению свыше», – самые недолговечные из нас всех. Но теперь, когда я стар, думать обо всем этом – это именно *corruptio boni pessima*⁴²... Что естественно? Естественно для меня то, что переживает грек N., однако об этом писать роман глупо, совестно и незачем... Надо было бы написать хоть одну настоящую книгу о настоящих вещах, написать ее, не думая о публике, не думая о критике. Но для того, чтобы написать такую книгу, надо иметь *шу*, прежде всего надо иметь *шу*...»

Указание на *шу* он нашел в чьих-то записях о знаменитом человеке. У китайцев будто бы есть понятие *шу*, означающее уважение: не уважение к чему-нибудь в отдельности, а уважение к жизни, ко всему за все, или, вернее, способность уважения вообще. С каждым годом Вермандуа все лучше понимал и значение этого понятия, и то, что сам он был от природы человек без *шу*, и с каждым годом у него становилось все сильнее сомнение: можно ли без *шу* заниматься искусством, предполагая, что заниматься искусством стоит. Если нельзя, то вся его полувековая литературная работа была печальной ошибкой. Митинги с обличением зверств чилийского правительства могли, пожалуй, быть некоторым – скверным – суррогатом *шу*: «У коммунистов *шу* есть, хоть, может быть, и не очень умное *шу*», – нерешительно думал он, вспоминая ту ерунду, которая выдавалась за философию в брошюрах о диалектическом мате-

⁴¹ «...Ребенком, на руках у матери, она видела проезжавшего Людовика XIV» (фр.).

⁴² Ужасное разрушение блага (лат.).

риализме. В свое время, окончательно склонившись в пользу коммунистов, он пробовал было прочесть и «Капитал», но не осилил: заглянул в менее увесистого Энгельса и сразу решил, что можно не читать: человек не даровитый, хоть на митингах и в статьях его должно называть великим мыслителем. Было достаточно ясно, что и Маркс, и Энгельс, при всей разнице в их умственном росте, оба люди с *шу*, и ему, человеку без *шу*, изучать их довольно бесполезно.

«Но если *шу* нет, то остается только философия моего Анаксимандра», – подумал он. Главное действующее лицо романа было сначала названо Анаксимандром. Однако, по мере того как росла грудa черновиков, Вермандуа все яснее чувствовал, что назвать своего героя Анаксимандром он не может, как не мог бы назвать его Нелюско или Радамесом. Чувство это было совершенно бессмысленное: в Греции, конечно, существовало много Анаксимандров, и, какое бы другое имя ни взять, оно все равно было бы оперное и все равно звучало бы как Радамес или Нелюско. Тем не менее в более поздних записях, в отдельном «досье» этого действующего лица, Анаксимандра, уже не было: был грек N. Сознание *оперности* искусства, всякого искусства, *его* искусства было очень тяжело. «Ну, хорошо, а это?..» Ставшее привычным и нормальным чудо непонятным образом, на каких-то непостижимых волнах, теперь из Мюнхена донесло в кабинет Вермандуа бетховенское скерцо. «Старичок вдруг развеселился, с чего бы? Или судьба больше не стучит?»

Он, печально улыбаясь, слушал столь знакомую ему музыку, вспоминая и ее толкование в трудах бесчисленных комментаторов. «Великая борьба человечества», – с кем же борьба? Если б было определенное значение у этих божественных звуков, то как были бы возможны дикие переходы от отчаяния к восторгу, от восторга к отчаянию. А эти нелепые, почти глуповатые программные названия: «Скорбь о потерянном гроше, выраженная в капризе...», «Победа Веллингтона, или Битва под Витторией...», «Принятое с трудом решение: должно ли это быть? да, это должно быть...». Он писал музыку к Гёте, но писал ее и к Коцебу, следовательно, ничего не понимал в литературе. А ему было бы так же смешно и гадко то, что я рассуждаю, смею рассуждать о его музыке. Однако все мы, большие и малые, признаемся служителями какого-то единого искусства, и предполагается, что у нас есть общая эстетическая одаренность или восприимчивость, которой нет у других людей... Вот эта часть за скерцо якобы должна означать вечное торжество добра. Он думал, будет лучше, если это будет означать торжество добра, а не просто то, что впервые в истории музыки в симфонию введены тромбоны. Нет, все это тоже опера, гениальная, но не менее неестественная, чем мой грек Анаксимандр...»

Он встал и прошелся по комнате. «Да, все обман! И я почти пятьдесят лет обманывал читателей, всячески прикрывая свои приемы и фокусы, выдавая оперу за жизнь, выдумывая людей, которые никогда не существовали, и руководясь в выдумывании отчасти тем, чтобы мои Радамесы с их похождениями никак не походили на Радамесов, выдуманных до меня другими фокусниками. Ну, конечно, я руководился не только этим, но и это соображение имело некоторое значение. И если Аустерлиц у Толстого повторяет стендалевское Ватерлоо, то, верно, и Толстой старался, чтобы походило все-таки не слишком. Да, у них тоже были Радамесы, в Фабриции, в Жюльене Сореле сидел Радамес, и даже в князе Андрее сидел Радамес, и во всем этом был оперный яд или хоть одна капля оперного яда. Но те твердо верили и в права, и в фокусы искусства, да и жили они почти как их собственные герои: Толстой врос, как дуб, в свою землю, он писал «органически» потому, что органически жил и, главное, любил то, что описывал, а когда не любил, то и писал карикатуры вроде Наполеона. Без органичности, без радости жизни, без любви и не может быть искусства. А я, если б хотел писать «органически», то прежде всего вывел бы старого, скучного, усталого парижанина, которому под семьдесят лет надоела вся его работа, вся его жизнь, комедия славы, комедия света, комедия политики и которому в жизни остались интересны только очень молодые женщины, не желающие на него смотреть. Может быть, это и было бы искусство, но от такого искусства надо бежать подальше. Да, собственно, когда я задумал своего усталого грека Анаксимандра, то именно это имел в

виду, и выйдет, конечно, дрянь, и нечего выбирать между дрянью и оперой, и надо бы к черту бросить весь этот роман!» – с внезапной злобой подумал Вермандуа. Поговорить об этом было не с кем: молодые писатели, по его мнению, мало смыслили в искусстве и почти ничего не знали; а старые в большинстве читали только самих себя, да еще разве классиков.

Последняя фраза симфонии кончилась на каких-то уж совсем непонятных по несвязанности с предыдущим звуках. Раздались бурные, долго не смолкавшие рукоплескания. «Почти как если б выступал Гитлер... Как, однако, все умещается в их дурацких головах! Старик Бетховен, в котором сидел честный радикал-социалист, умер бы, если б увидел, кто ему аплодирует», – подумал Вермандуа, садясь снова за письменный стол. «Что ж, *сжечь* все это? – с раздраженной усмешкой спросил себя он. – Это было бы уж самое оперное из всего...» Он никогда никаких рукописей не сжигал, даже в самой гадкой может оказаться какая-либо удачная фраза, слово, эпитет. «Нет, зачем же сжигать? Можно просто спрятать. Буду утешаться тем, что роман еще *не созрел*: не кончилась работа *бессознательного*...»

Старательно надвинул зажимы, затянул ремешок папки и спрятал ее в ящик. Сильно раздувшаяся в последнее время папка вдвигалась с трудом, картон погнулся, раздражение его еще усилилось. «Что ж теперь? Статью написать? Ну, напишем им статью. Они просили об Идене, можно и об Идене...» Выдвинул Другой ящик, достал другую папку, не картонную, а бумажную, очень тоненькую: там были какие-то вырезки из газет и листок с давно набросанными мыслями о предмете статьи. Вермандуа не без удовольствия пробежал запись, она была составлена в сокращениях и очень сильных выражениях. «Это, по крайней мере, совершенно верно, тут все без обмана и без Радамесов. И пятьсот франков за два часа работы – это тоже хорошо...» Он вздохнул, оторвал от блокнота лист бумаги, загнул поля и стал писать:

Le rôle historique de M. Eden

«M. Eden a parlé, hier, avec son éloquence coutumière, de la guerre en Afrique et de la Société des Nations. Il a prononcé, paraît-il, un très beau discours: un de plus. Mais le malaise qui règne n'est pas dissipé, loin de là. Ce malaise a trait aux conjonctures extérieures devant lesquelles se trouvent aujourd'hui le pays de M. Eden et le nôtre. Rien n'est plus saisissant que de constater, sur l'exemple du ministre britannique des affaires étrangères, le contraste qui existe entre le rôle qu'un homme d'état voudrait jouer et son rôle historique véritable. Pourquoi ne dirions-nous pas que, malgré l'abîme existant entre nos conceptions sociales et les siennes, M. Eden nous inspire une réelle et sincère sympathie? (Вермандуа мысленно выругался.) Jeune, brillant, généreux, aimant le bien, croyant en la Société des Nations, il croit servir l'œuvre de la paix. Mais a-t-il raison de le croire?

Toute la question est là»⁴³.

Вздохнул опять – ужасный стиль, но иначе нельзя, – счел строки и продолжал писать со все растущей злобой:

«Nous croyons (Dieu veuille qu'il n'en soit pas ainsi) que le rôle historique de M. Eden sera des plus funestes. Dans le conflit qui sépare aujourd'hui l'Italie fasciste des grandes démocraties, comme

⁴³ Историческая роль г-на Идена «Г-н Иден говорил вчера со свойственным ему красноречием о войне в Африке и о Лиге Наций. Он произнес, похоже, одну из лучших своих речей. Однако недомогание его отнюдь не прошло. Это недомогание имело отношение к внешним обстоятельствам, с которыми столкнулись и его страна, и наша. Интересно отметить на примере британского министра иностранных дел контраст между ролью, которую хотел бы играть государственный деятель, и его подлинной исторической ролью. Отчего бы нам не признать, что, несмотря на пропасть, пролегающую между его социальными воззрениями и нашими, г-н Иден вызывает в нас реальную и искреннюю симпатию? (...) Молодой, блестящий, благородный, любящий добро, верящий в Лигу Наций, он верит, что служит делу мира. Но прав ли он в своей вере? В этом весь вопрос» (фр.).

l'Angleterre, la France et l'URSS, l'homme d'état britannique a prononcé trop de belles paroles pour ne pas agir. Or, il se trouve aujourd'hui au tournant du chemin. Agira-t-il?

Non, il n'agira pas. Il ne fera rien du tout. Ou plutôt si, il parlera: il prononcera un discours, deux discours, trois discours. Ce seront de très beaux discours encore. Ne parlons pas de M. Laval, ce n'est pas la peine. Mais en ce qui concerne le jeune ministre anglais, nous l'avons, un instant, cru capable de donner un vigoureux coup de reins à ce monde qui s'écroule grâce à la sottise, à l'impuissance, à l'égoïsme de ses classes dirigeantes. Nous nous sommes trompés. M. Eden ne fera rien. M. Mussolini qui sait ce qu'il veut obtiendra tout ce qu'il veut. Il se trouvait dans une impasse: que pouvait, que peut l'Italie contre la force réunie de l'Angleterre, de la France, de l'URSS? La fermeture du canal de Suez serait la fin de la triste aventure, la fin du régime fasciste en Italie (et peut-être ailleurs), la fin de M. Mussolini. Rien n'était plus facile que d'assurer cette fois à la démocratie une revanche éclatante, une victoire, un triomphe. Dieu sait si elle en avait besoin! Mais le seul mérite du Duce est de bien connaître, à leur juste valeur, ses adversaires.

Désormais tout est permis, comme disait l'autre, tout est permis à tous. Le monde s'en ressentira bientôt et très cruellement. Le rôle historique du jeune et généreux ministre, semblable à celui du gamin du conte charmant, sera non pas de proclamer certes (il connaît trop bien les usages) mais de montrer que le roi est tout nu et que la Société des Nations est une vaste blague...»⁴⁴

⁴⁴ «Мы полагаем, (да будет воля Господня), чтобы так не случилось, что историческая роль г-на Идена будет одной из самых зловещих. В конфликте, который сегодня разделяет фашистскую Италию и такие великие демократические державы, как Англия, Франция и СССР, британский политик выступил со словами слишком яркими, чтобы не действовать. Однако сейчас он находится на крутом повороте событий. Будет ли он действовать? Нет, он не будет действовать. Он ничего не будет делать. Он совершенно ничего не будет делать. Или, скорее всего, он станет говорить: произнесет речь, две речи, три речи. Это будут превосходные речи. И не будем вспоминать г-на Лавалю, это ни к чему. Но в том, что касается молодого английского министра, мы на мгновение подумали, что он способен нанести мощный удар по этому миру, который вертится благодаря глупости, беспомощности и эгоизму правящих классов. Но мы ошиблись.

VII

В назначенный для приема день в здании полномочного представительства было сильное волнение. Затруднения не прекращались до последней минуты. Утром Вислиценус заявил, что представляться не поедет. «Вы как угодно, а я дурака валять не желаю», – угрюмо сказал он послу. «Но отчего же вы молчали до сих пор?» – «Я думал, что вы сами догадаетесь». – «Я о ваших мыслях *догадываться* не могу, да и не желаю», – сухо сказал посол. – Поверьте, мне так же мало хочется участвовать в этой глупой церемонии, как и вам. Но вы числитесь в *моем* полпредстве, и я включил вас в список. Если вы этого не желали, ваша обязанность была предупредить меня. Теперь же ваше уклонение обратит на вас *особое внимание* (он подчеркнул эти слова). По-моему, это весьма нежелательно. Со всем тем, поступайте как знаете, вам виднее».

Вислиценус понимал, что Кангаров прав, хоть и врет, что ему не хочется ехать. «В самом деле, это пустая формальность», – подумал он, выходя из кабинета. Ему навстречу шла Надежда Ивановна.

«Нет, положительно, это несправедливо! – смеясь, сказала она. – Я, кажется, не знаю, что бы дала, чтобы на все это посмотреть, и меня не берут. А вас просят честью, и вы отказываетесь! Да еще ставите амбассадера в трудное положение...» – «Пусть амбассадер скажет, что я болен», – ответил нерешительно Вислиценус. Надежда Ивановна на него посмотрела. «Вот что! И ему хочется!..» «А то поехали бы, – сказала она, – я в своих интересах говорю: без вас никто толком не расскажет, ведь они ничего не видят». «Какая любопытная!..» Надежда Ивановна побежала к послу. «Поговорите еще со *стариком*, – посоветовала она с улыбкой (знала, что улыбка предательская), – я уверена, что он поедет». Через полчаса Кангаров с плохо скрываемым торжеством сказал ей: «Согласился, красавец! В самом деле, только голову морочил: «Ах, я так дорожу своей белоснежной революционной ризой!» Точно мне доставляет удовольствие иметь дело с придворной челядью. Но с волками жить – по-волчьи выть...» «И вовсе они уж не такие волки, – подумала Надежда Ивановна, – я на придворную челядь посмотрела бы...»

С двух часов дня секретарь почти не отходил от окна. Весь персонал посольства собрался в примыкавшей к вестибюлю гостиной первого этажа. В ней немного пахло краской и нафталином. Кангаров долго не показывался, у него происходил неприятный разговор с женой. Елена Васильевна настаивала на том, чтобы быть представленной поскорее. «Ты понимаешь, однако, что это зависит не от меня, – сдерживаясь, сказал ей Кангаров. – Как у них принято, так и будет...»

В гостиной настроение было шутливо-приподнятое. Особенно саркастически был настроен советник, уже немолодой человек, которого Вислиценус называл Базаровым. «Вы, Надежда Ивановна, под тургеневскую девушку, а тот гусь под Базарова», – объяснил он как-то Наде. «Это я под тургеневскую девушку!» – искренно изумилась Надежда Ивановна. «А то нешто нет?» – «Ради Бога, не говорите «нешто», вы не командарм Тамарин. Теперь никто «нешто» не говорит. А я ни под кого, я сама по себе...» Тон этого разговора показал Вислиценусу, что их отношения изменились и что он больше не Кропоткин. «Амбассадер восхитителен», – сказал вполголоса Базаров, когда Кангаров появился в гостиной. Полпред улыбнулся общему их великолепию.

«Ничего не поделаешь, с волками жить – по-волчьи выть, – повторил он. – Мы просили этих господ упростить их церемониал, но у них от ужаса чуть не сделался родимчик. Я, однако, прошу, – сказал он строго, обращаясь преимущественно к Базарову, – все выполнять точно, без неуместных шуток». – «Есть, – смиренно ответил Базаров, – есть...»

Секретарь у окна ахнул. К посольству подъехали три раззолоченные кареты с придворными лакеями. За ними следовал конный конвой. «Фу ты, ну ты, ножки гнуты!» – сказал Базаров. Посол на него покосился и торопливо пошел навстречу входившему в вестибюль церемо-

ниймейстеру. Это был очень старый, видимо, с трудом передвигавшийся человек угрюмого вида. Он почти не улыбнулся в ответ на улыбку Кангарова и не объяснил цели своего приезда: ясно и без того. Кангаров сказал, что погода очень хороша; церемониймейстер не выразил ни согласия, ни несогласия с его мнением. «Кажется, немой из Портичи», – шепнул по-русски Базаров. Секретарь слабо фыркнул и испугался, что фыркнул. На них остановился строгий взгляд посла, означавший: «Да, кажется, старик глуп как сивый мерин, но это никакого отношения к делу не имеет: мы дипломаты». «Мы можем ехать», – сказал кратко церемониймейстер. «Разумеется, – ответил посол и добавил, обращаясь к своим подчиненным: – Allons, Messieurs...» «Messieurs» было чуть-чуть шутовское, но в присутствии этого раззолоченного старика выговорить слово «товарищи» было почти невозможно. «Аллонз, анфан де ля патри»⁴⁵, – пробормотал Базаров.

На тротуаре уже собралась небольшая толпа. Увидев конный конвой, Кангаров поморщился, как бы говоря: «Зачем все это? Но если у них так принято, то что же делать?..» Они разместились по каретам и поехали в сопровождении конвоя. В первой карете заняли места посол и церемониймейстер, лицо которого по-прежнему ничего решительно не выражало: с одинаковым правом можно было бы предположить, что он везет жениха на венчание или осужденного на эшафот.

– Как хороша ваша столица! – сказал посол. – Меня в ней поражает сочетание грандиозных перспектив с какой-то уютностью...

– Да, – сказал старик, видимо, нисколько не считавший необходимым поддерживать разговор: можно отлично и помолчать.

Кангаров был несколько озадачен и задет этим полным отсутствием любопытства и к советскому посольству, и к сцене, которую он в душе считал до известной степени исторической: все-таки сталкиваются два мира. Впоследствии он узнал, что церемониймейстер исполняет свои обязанности уже лет тридцать, что его и при дворе считают слишком старым, окостеневшим и недостаточно приветливым человеком, но смещать все же не хотят именно потому, что он так долго занимает должность, что он очень знатного рода и, главное, ничего другого делать не умеет. Старик церемониймейстер за свою жизнь привез для представления не менее двухсот посольств и делегаций; были среди них и китайские, и негритянские, и индусские; он с одинаковым отсутствием интереса и предупредительности привозил во дворец английских лордов и малайских князьков. Внешний вид чинов советского посольства не мог особенно удивить его; вероятно, он не был бы очень поражен, если бы на Кангарове оказалась набедренная повязка с колчаном для стрел. Еще меньше интересовало церемониймейстера то, что этот посол представлял первую в истории мира социалистическую республику. Кангаров невольно подчинился его настроению и молчал всю дорогу. От посольства до дворца было, впрочем, недалеко. Кареты замедлили ход, стало более медленным отчетливое цоканье копыт конвоя, отворились огромные раззолоченные ворота. Они въехали во дворец.

Музыка заиграла «Интернационал». Отряд гвардейцев отдал честь. Кангаров, проходя, наудачу нерешительно приподнял цилиндр. На подъезде стояло несколько человек в расшитых золотом мундирах. «Не разберешь, кто у них придворный, кто лакей. Да это, собственно, одно и то же, – подумал Кангаров, стараясь защититься от робости учтивым презрением. Он боялся сделать какую-нибудь грубую ошибку. – В конце концов, не все ли равно? Я себя за принца крови никогда не выдавал и не обязан знать их идиотский этикет...» Вислиценус поглядывал на него со злобной усмешкой. В огромном вестибюле навстречу им с ласковой приветливой улыбкой шел очень красивый, представительный пожилой человек, тоже в раззолоченном мундире, с жезлом. Это был обер-гофмаршал.

– Я очень счастлив, – сказал он, крепко пожимая руку послу.

⁴⁵ «Вперед, сыны отечества...» («Allons, enfants de la patrie» – первая строчка «Марсельезы».) (фр.)

Завтрак во дворце прошел в этот день неприятно. Король был человек современный и держался того взгляда, что по службе (он всегда полушутливо говорил о своей службе) поневоле приходится принимать всевозможных людей, пожимать им руку и говорить любезные слова. Но у королевы, когда она вышла в столовую, лицо было в красных пятнах. Она, очевидно, плакала, и король чувствовал себя смущенным. На беду к завтраку был приглашен престарелый принц, известный своим тяжелым характером, резкостью речи и обращения: как старейший член семьи, он не церемонился с самим королем, которого вдобавок недолюбливал.

Принц ненавидел все новое, от социалистических кабинетов до коктейлей и грейпфрута, и был убежден, что настоящая жизнь была только до войны, что *порядочная* история навсегда кончилась, уступив место историческому периоду прохвостов и хамов. В этот день за завтраком он нарочно, без всякого повода, все время говорил о русской царской семье, о прежних встречах с ней и об екатеринбургском преступлении. К концу завтрака он, также без повода, спросил бывшего в числе приглашенных министра иностранных дел, правда ли, что этот господин (он не назвал господина, но все сразу поняли, о ком идет речь) состоит членом главного комитета – как это у них называется? – по приказу которого был убит император Николай. Министр очень сухо ответил, что ему это неизвестно. Старый принц неприятно засмеялся.

– Нашим газетам, – сказал он, – тоже, по-видимому, ничего об этом неизвестно. Но я читал в «Figaro»...

При этом принц радостно вспомнил, как однажды спросил Клемансо, что он думает об этом министре. Старик ответил: «J'ai le plus grand respect pour ses fonctions et la plus vive amitié pour lui. Mais avec toute l'admiration que je lui porte, je dois dire en toute sincérité que c'est un vieux s...»⁴⁶ От Клемансо каждый раз, как он открывал рот, все с наслаждением ждали: что сейчас последует! Этот ответ привел принца в совершенный восторг: он любил особенности французского языка и гордился тем, что все отлично понимает, но такие слова слышал не часто.

– Как жаль, что вам это неизвестно, – сказал он и, ни к кому в отдельности не обращаясь, сообщил, что его покойный друг и кузен Франц Иосиф до конца своих дней не принимал мексиканского посланника, так как в Мексике был расстрелян его брат Максимилиан. – В наше время, – добавил принц, – все было по-другому, и люди на многое смотрели совершенно иначе, чем теперь... – Это было не только непочтительно, но просто грубо. Однако принц, по своему возрасту, по установившейся за ним репутации и по тому, что он ни в чем не зависел ни от короля, ни от правительства, ни от парламента, мог себе позволить все.

Красные пятна на лице королевы обозначились еще сильнее. Обер-гофмаршал поспешно заговорил о нашумевшем матче бокса и о необыкновенном искусстве оказавшегося победителем чемпиона. Он был очень доволен завтраком: писал изо дня в день мемуары, которые должны были появиться в печати через двадцать пять лет после его смерти; этот день обещал для мемуаров несколько интересных страниц.

Старый принц и рассказ о матче выслушал недоверчиво: какие теперь могли быть чемпионы? Джефрис или Фицджеральд вывели бы их из строя в первом же раунде. Уезжая после завтрака, он довольно громко попросил обер-гофмаршала всякий раз предупреждать его, когда во дворец на приемы будет приглашаться этот господин. Обер-гофмаршал с улыбкой наклонил голову и закрыл глаза. Он очень любил – хоть без всякого благоговения и даже без чрезмерной почтительности – королевскую семью, сроднился с ней, не позволял себе осуждать действия короля и политикой к тому же мало интересовался. Однако ему казалось, что престарелый

⁴⁶ «Я к нему испытываю большое уважение и величайшие дружеские чувства. Но несмотря на все мое восхищение, я должен сказать, что он старая ев...» (фр.)

принц прав: в самом деле, что-то как будто изменилось в мире. Во всяком случае, в словах и поступках принца была живописная стильность, подходившая для мемуаров как нельзя лучше.

После завтрака обер-гофмаршал ушел в свои комнаты и отдохнул, с улыбкой думая о старом принце и о своих мемуарах. Ему было очень досадно, что они не появятся в печати при его жизни. Кое-что он все же иногда с большим успехом читал вслух в тесном кругу надежных друзей. Куря сигару, он затем поработал над своей коллекцией марок, собственно, занимавшей теперь главное место в его жизни. Он был богат и не слишком честолюбив – добился всех тех успехов, которых мог и хотел добиться; светские развлечения ему смертельно надоели, он часто повторял изречение, приписывавшееся то Пальмерстону, то какому-то французскому политическому деятелю: «*La vie serait très supportable sans les plaisirs*»⁴⁷. Марками же он увлекался с каждым днем все больше. У него были самые восхитительные: и багдадская розовая, на которой забыли выставить цену, и не выпущенная в обращение лиловая американская в 24 цента, и синяя тринидадская «Леди Мак-Леод» с пятном в верхнем левом углу, и Британская Гвиана с «*patimus*» вместо «*petimus*»⁴⁸ – не было, разумеется, Британской Гвианы 1856 года «*black on magenta, the famous error*»⁴⁹; о ней он только мечтал в безумные минуты и даже откладывал на нее по 3000 долларов в год из предназначенной для марок части своего бюджета. По случаю нынешнего приема обер-гофмаршал заглянул с пренебрежением и в советский отдел своей коллекции. Серия спартакиады у него была, но она была у всех филателистов его круга. «Разве попытаться достать через *этого господина*, по приличной цене, воздушную консульскую?» – нерешительно подумал он. За воздушную консульскую с него просили 1500 долларов; знал, что отдадут и за 500, но она и пятиста не стоила.

Поработав, он надел придворный мундир, взял высокий золоченый жезл (несмотря на долголетнюю привычку, ему всегда было немного совестно ходить с жезлом), заглянул в приемные залы и, убедившись, что все в порядке, ровно в три часа спустился в вестибюль. Еще на лестнице он услышал звуки военного оркестра и догадался, что играют «Интернационал», – мелодия социалистического гимна была ему неизвестна. «Хорошо, что старик уехал: его от этой музыки разбил бы паралич», – с улыбкой подумал он.

Приняв привычное ему выражение торжественной радости, обер-гофмаршал поздоровался с Кангаровым и крепко пожал руку сопровождавшим его людям необычного во дворце вида. Взгляд его наткнулся на взгляд Вислиценуса. «Этот больше похож на человека, чем другие. В нем есть стиль, – подумал он почти как о старом принце. – Остальные хуже... У молодого вид, какой может быть у пингвина, который при первом своем полете с острова встречает в море «Норманди»...» Обер-гофмаршал с удовольствием занес свое сравнение в память для мемуаров.

«Этот старый шут с золотой палкой теперь, вероятно, желал бы, после рукопожатий с его превосходительством Кангаровым-Московским и со всеми нами, вспрыснуть руки одеколоном. Но мне он еще противнее, чем я ему», – думал Вислиценус, злобно оглядывая великолепные залы, по которым их вели. Обер-гофмаршал искоса бросил на него взгляд, и чувство вежливой гадливости в нем ослабело. «Да, этот, кажется, настоящий», – подумал он, вводя посольство в большую залу, в которой на возвышении стояло под балдахином раззолоченное шелковое кресло. «Трон!» – блаженно прошептал рядом с Вислиценусом молодой секретарь. Вислиценус посмотрел на него с отвращением.

Почти незаметно, с ласковой улыбкой обер-гофмаршал расставил их так, как им полагалось стоять (взгляд его опять с легким беспокойством задержался на Вислиценусе), и попросил у посла разрешения покинуть его на одно мгновение. К Кангарову тотчас подошел сопровож-

⁴⁷ «Без развлечений жизнь была бы вполне сносной» (*фр.*).

⁴⁸ «Страдаем» (...) «молим» (*лат.*).

⁴⁹ «Черная на ярко-красном, знаменитая ошибка» (*англ.*).

давший их другой человек в раззолоченном мундире, дежурный камергер, и спросил, очень ли утомительна была их поездка из Москвы. «Утомительна? Ах нет, нисколько! Нисколько не утомительна», – ответил Кангаров немного тише, чем говорил камергер. Голос его чуть сорвался от волнения. Он что-то добавил еще, но не успел закончить фразу. Дверь залы отворилась настежь, чей-то громкий голос неестественно прокричал: «Его Величество!...» В сопровождении министра иностранных дел, обер-гофмаршала и еще каких-то людей в мундирах в залу вошел король. Посол и чины посольства отвесили низкий поклон, как их учили в Москве. Вислиценус тоже наклонил голову, чувствуя знакомое стеснение в груди, – как будто приближался припадок астмы. «Стоило бы, хоть для того, чтобы сделать *им* неприятность», – подумал он. Король поспешно направился к послу и быстро, точно желая сразу отделаться от самого неприятного, крепко пожал ему руку.

Посол попросил разрешения представить Его Величеству своих сотрудников и назвал их имена и должности. Кангаров овладел собой и называл имена даже несколько громче, чем полагалось, – обер-гофмаршал только поглядывал на него с приятной усмешкой, которая могла сойти за хозяйскую улыбку. Король каждый раз наклонял голову и произносил несколько любезных слов, по существу, одних и тех же, но без буквальных повторений. Руки он никому, кроме посла, не подал, – позднее Кангаров узнал, что это считалось знаком неблагосклонного приема: король умышленно остался в пределах обязательного минимума любезности.

Министр иностранных дел с поклоном вручил королю большой лист бумаги. Король, занявший место перед серединой тронного возвышения, приготовился слушать речь посла. Кангаров вынул из кармана свой лист и принялся читать. Он предварительно раз пять прорепетировал речь и читал отчетливо и громко; удачно сошли даже самые трудные французские слова, только французское «eu» напоминало русское «э». Закончив чтение, довольный его внушительностью, он сделал два шага вперед, с почтительным поклоном передал королю лист и отступил назад на прежнее место. «Прямо маркиз», – сказал про себя Вислиценус. Король с минуту просматривал речь посла, точно обдумывая, что бы на нее ответить, затем отдал ее министру иностранных дел и прочел свою речь, менее внушительно, чем Кангаров. «Все-таки и ему должно быть очень неприятно, – подумал утешенно Вислиценус, – он тоже чувствует себя оплеванным...»

Все прошло гладко и торжественно. В обеих речах высказывалась горячая надежда на установление между обеими странами самых сердечных дружественных отношений, отвечающих их интересам, чувствам и намерениям, а также твердая уверенность, что каждая из них совершенно воздержится от вмешательства во внутренние дела другой. Министр иностранных дел слушал чрезвычайно внимательно, точно содержание речей было ему совершенно неизвестно, – одну из них он тщательно изучил, а другую сам написал от первого слова до последнего. Кроме любопытства лицо его еще выражало глубокое убеждение в том, что в обеих речах каждое слово правда. Обер-гофмаршал был очень доволен, но почему-то решил, что не может быть и речи об обращении к послу по делу «воздушной консульской».

Кангаров опять выступил вперед, с таким же поклоном взял речь, которую ему передал король, и, отступив, вручил ее Базарову, на которого опять посмотрел строгим взглядом, говорившим: «Думать можете что угодно, и я с вами в душе, конечно, согласен, но извольте все делать так, как было указано». Теперь должна была состояться наименее ответственная и самая трудная часть церемонии. По этикету страны, посол и его свита должны были отступить к двери, не поворачиваясь спиной к королю. «Как бы не наступить на кого-нибудь, не упасть», – промелькнуло в голове у посла. Он озабоченно оглянулся, как фехтовальщик, перед началом дуэли изучающий место боя, и опять со строгим видом сделал знак персоналу: «Что же делать, если у них такие обычаи!...» «Есть, слышали, продelaем и этот номерок», – смиренно-весело ответило лицо Базарова. Обер-гофмаршал предвкушал наслаждение: нет, эту главу непременно надо будет прочитать в тесном кругу. Однако, к большому его сожалению,

церемония отступления к двери не состоялась: по рассеянности ли или из желания облегчить положение посольства король слегка поклонился и, пожав руку послу, первый вышел из залы.

Министр иностранных дел подошел к Кангарову и спросил его, как он себя чувствует в их стране. Сияя улыбкой, как после хорошо выдержанного экзамена, посол ответил, что чувствует себя отлично. «Очень нравится, мне ваша столица, – сказал он, – в ней всего лучше сочетание уюта с грандиозной перспективой...» Ему захотелось добавить, что король показался ему прекраснейшим человеком; но он не сказал ничего лишнего и вел себя достойно.

Дежурный камергер сообщил послу, что Его Величество желал бы с ним побеседовать отдельно с глазу на глаз. Кангаров простился с министром и поспешно пошел за дежурным камергером, больше не чувствуя никакого смущения. «Он сейчас скажет: «Король Иванovich», – подумал Вислиценус.

Камергер проводил посла в соседнюю небольшую гостиную. Король сидел в кресле и любезным жестом пригласил Кангарова сесть. Этот дополнительный к торжественному приему частный прием был всегда тягостен королю: он от природы был очень застенчив. Обычно он заранее намечал тему для разговора с иностранными послами: чаще всего расспрашивал о здоровье монарха, которого представляло посольство, и членов его семьи, затем вспоминал и осведомлялся о людях, известных ему в столице посла, или же в благосклонных выражениях отзывался о прежнем после, предшественнике нового. На все это уходило десять минут – ровно столько, сколько требовалось. Политических разговоров обычно можно было и не вести. Но Кангарова ни о чем здоровье спрашивать, очевидно, не приходилось, предшественников у него не было, и общих знакомых с ним, наверное, не оказалось бы. Король заговорил о Москве, сказал, что в молодости посетил ее и сохранил о ней самые лучшие воспоминания: это прекрасный город.

– Как хороша ваша столица, сир! – сказал посол, не без удовольствия произнося слово «сир». – Меня очень в ней поражает грандиозная перспектива и вместе с ней какая-то уютность...

– Я очень рад, что она вам понравилась, господин посол. Надеюсь, что вы будете в ней себя чувствовать хорошо...

Король хотел было еще сказать несколько слов о необходимости установить самые добрые отношения между обеими странами и о том, что его правительство сделает для этого все возможное. Он даже начал было фразу, но остановился и отвел глаза в сторону. Совершенно неожиданно для себя самого он вдруг почувствовал, что продолжать аудиенцию не в состоянии: может выйти что-либо нехорошее, никогда с ним не бывавшее.

– Да, я надеюсь, что вы будете себя чувствовать у нас отлично, – торопливо проговорил король и поднялся, хоть вместо полагавшихся десяти минут прошло не более трех. – Очень рад был вас видеть, – сказал он, подал руку Кангарову и поспешно вышел.

Ровно через полминуты в гостиную к несколько озадаченному послу вошел обер-гофмаршал. Любезно занимая Кангарова разговором, он проводил его в гостиную, где посла ждали свита, министр, дежурный камергер и мрачный церемониймейстер. Секретарь озабоченно прошептал Кангарову: «Вы просили напомнить о визитах...» – «Ах, да, – сказал посол и обратился к министру: – Я собираюсь в ближайшие дни начать визиты... Членам семьи Его Величества и членам правительства, правда? Не укажете ли вы нам, в каком именно порядке следовало бы завезти карточки?..» Министр немного уклончиво обещал прислать список. «По-моему, он должен начать со старика, – весело подумал обер-гофмаршал, – тот вполне способен приказать лакеям вышвырнуть его вон...» Мысль о физиономии старого принца в ту минуту, когда ему подадут карточку посла, привела обер-гофмаршала в чрезвычайно радостное настроение. Он решил сейчас же сесть за мемуары.

Советник, секретарь и Вислиценус заняли свои места во второй карете. Базаров хохотал: «Ну и дурачье же!.. Однако, братишки, и мы с вами хороши болваны!..» – «Говорите за себя,

товарищ», – ответил секретарь обиженно. Вислиценус смотрел на выстроившийся во дворе отряд гвардейцев и во всех подробностях представлял себе, как сюда во дворец ворвется вооруженная толпа. «А может быть, и не дождемся», – подумал он вслух. «Как вы сказали, товарищ?» – переспросил секретарь. «Я сказал: «медленно прицелился он в неподвижно стоявшего Корнелиуса», – проговорил Вислиценус. Секретарь вытаращил глаза. Кареты выехали на площадь. «Да здравствуют Советы!» – закричал вдруг кто-то на тротуаре; еще несколько голосов жидко повторило крик. С восторженным ужасом – «демонстрация!» – секретарь откинулся на спинку сиденья: дипломаты в демонстрациях участия не принимают. За каретами слышался приятный, мягкий, все ускорявшийся топот коней конвоя.

VIII

Командарм Тамарин приехал в Париж под вечер. Он никогда во Франции не жил и знал ее гораздо хуже, чем Германию, в которой служил и бывал в продолжительных командировках. В последний раз посетил Париж лет двадцать пять тому назад, а до того был еще раза три; в 1900 году они с женой совершили свадебное путешествие на выставку. По случайности он всегда попадал во Францию весной, в ясную солнечную погоду, и отчасти поэтому в нем еще закрепилось то впечатление веселья, радости, беззаботной жизни и сплошного развлечения, которое по вековой традиции связывалось с Парижем у всех иностранцев, особенно у русских. Теперь был холодный зимний вечер.

Он купил на вокзале недорогой путеводитель и, стоя в очереди у барьера в таможенном сарае, просмотрел список гостиниц. С женой они жили в «Отель де Бад», на бульваре, гостинице повыше среднего разряда, но и не очень роскошной: богаты никогда не были. В последний раз, приехав уже в генеральском чине и зная, что центр города передвинулся в Елисейские Поля, остановился в «Элизе-Палас». В путеводителе ни «Отель де Бад», ни «Элизе-Палас» не было, и это было ему неприятно, точно и с гостиницами ушел кусок жизни: уж в Париже-то ничто не должно было бы меняться, застой так застой. Ждали в таможне в прежние времена как будто не так долго, и чиновники были любезнее, и носильщики почтительней. Он дал носильщику три франка: что ж, прежних тридцать копеек, довольно, – тот едва поблагодарил.

«Chauffeur, êtes-vous libre?»⁵⁰ – спросил Тамарин; говорил по-французски, как русские образованные дворяне его круга и поколения: не очень хорошо, но гладко и бойко – иногда даже позволял себе прежде разные «Oh, la-là!», и «Tu parles!», и «Et ta sœur!..»⁵¹. Нерешительно осведомился об «Отель де Бад» и «Элизе-Палас». Шофер захохотал и тоже сказал – но иначе – «Oh, la-là!»: давно и в помине нет ни «Элизе-Палас», ни «Отель де Бад». Тамарин подумал, что ему все равно в таких гостиницах и неудобно было бы останавливаться – государство пролетарское, да и не по карману: суточные ему полагались небольшие, а он еще хотел заказать костюм. Велел ехать в Латинский квартал: от этой части города осталось у него приятное воспоминание. Остановился в гостинице, которая показалась ему не то чтобы студенческой, но и не роскошной. Слуги внесли его чемодан в комнату, приготовили ему ванну, говорили «Oui, monsieur», «Monsieur désire?»⁵² – к этому «месье» он все не мог привыкнуть – будто не к нему обращались. В ванной дали три полотенца и простыню. Он испытывал странное чувство, точно никогда не жил в гостиницах. Надел свой второй штатский костюм, лучший, непорочный, прослуживший всего три года, – заказал тогда, когда получил неожиданно гонорар за второе издание своего труда «Некоторые мысли о роли моторизованных частей в свете современной тактики».

Затем надо было являться. Тамарин пробовал разобрать по плану, как пройти пешком или проехать в автобусе, но не разобрал и решил, что в первые два-три дня придется тратиться на автомобили. Вышел на улицу все с тем же странным чувством: в Париже!.. Из бесчисленных кофеен – что ни дом, то кофейня – доносились гул, смех, музыка. «Да, здесь ГПУ нет. Не убивай, не грабь, не воруй – и тогда живи как хочешь. Вот это и есть буржуазная мораль» (он невольно теперь употреблял такие слова). В воздухе стоял тот же запах автомобильных испарений, навсегда связавшийся в его памяти с Парижем. Движение стало еще более чудовищным: просто улицы не перейти. Заметил новое: гвозди в мостовой, не сразу догадался об их назначе-

⁵⁰ «Такси свободно?» (фр.)

⁵¹ «О-ля-ля», «Неужели!», «И твоя сестра!..» (фр.).

⁵² «Да, месье», «Месье что-нибудь хочет?» (фр.).

нии: хорошо придумано. Исчезли лошади. Цилиндров совершенно не было видно: жаль, куда же они делись? Что еще?..

Он взглянул на часы и подошел к первому шоферу на стоянке. «Chauffeur, êtes-vous libre?» – спросил он и вдруг мгновенно, сам почти не зная, понял, что это русский офицер, из *tex*!.. Чуть было не отшатнулся к следующему автомобилю – «нет, неловко...», Тамарин указал неверный номер дома: не 79, а 59, и сел с мучительно-тревожным чувством, точно сейчас что-то выплывет наружу. Не было никаких оснований думать, что этот незнакомый ему человек может узнать его; да если б и узнал, то никакой беды не произошло бы. Однако чувство тревоги не покидало его всю дорогу. Выйдя из автомобиля, он поспешно расплатился и дал на чай два франка; шофер, приподняв фуражку, с чисто русским акцентом сказал: «Мерси боку, месье...» Тамарин остановился у дома и при свете фонаря, точно боялся ошибиться, долго всматривался в номер, пока автомобиль не отъехал. Затем, нервно подергиваясь, пошел дальше, к 79-му номеру. «По возрасту, верно, капитан или, быть может, подполковник... Два франка на чай: двугривенный – «мерси боку, месье»... Что ж, это честный труд... Но правы были мы, а не они...»

Приняли его очень любезно, поговорили немного о служебных делах, видно, особой спешки не было, немного о московских новостях, осторожно и уклончиво с обеих сторон. Записали его адрес, против гостиницы никаких возражений не последовало. Дали советы, где и как лучше устроиться на продолжительное время, но ничего ему не навязывали – он опасался, что навяжут, – и попросили «захаивать». Все было очень корректно, даже проводили до лестницы. «Нет, *все-таки* они здесь стали европейцами», – думал он, с облегчением выходя снова на улицу.

В свой квартал он вернулся пешком: кое-как заметил дорогу и, к некоторому своему удовлетворению, легко разыскал гостиницу. Однако подниматься не было смысла: что сейчас делать в номере? Настроение у Тамарина стало очень хорошее. «Вот привел бог снова побывать в Париже...»

Он гулял, с любопытством всматриваясь в витрины, в надписи, в людей. «Да, хорошо живут...» Прошел по бульвару, узнал Пантеон и обрадовался, что узнал. «А то, значит, была Сорбонна, ну да, как же...» Справа чернел сад. Он не мог вспомнить, какой это сад, но и сад, довольно мрачный в зимний вечер, очень ему понравился. Свернул раза два, большая прелесть была и в старых узеньких улицах. Пронесшийся автобус осветил на мгновение своими огнями длинный, узкий, темный проход в стене старого дома. Там устроился старичок букинист. «Как хорошо! – подумал Тамарин. – И дому этому, верно, лет двести...» Хотел даже порыться в книгах: книжные магазины уже были закрыты. «Нет, успеется...» Багровым пламенем горело на стержне одинокое огромное пенсне – не жалеют света. У аптекарского магазина на стойке были выставлены тысячи разных баночек, коробочек, склянок, футляров – чего только у них нет! В витрине винной лавки стояло уж никак не менее сотни бутылок разной формы, глиняных сосудов, кувшинчиков – как хорошо, с каким вкусом подано! На ободранной стене, под фонарем, висело несколько огромных афиш. «Non, tout de même!...»⁵³ – значилось огромными буквами на одной. «En prison, les bandits!»⁵⁴ – орала другая. Все честные люди, еще не окончательно потерявшие совесть, призывались на большой митинг, на котором в числе других ораторов должен был выступить с протестом против возмутительных действий чилийского правительства знаменитый писатель Луи Этьенн Вермандуа (его имя было выделено в особую строчку). Тамарин читал с некоторым испугом – ничего не знал о возмутительных действиях чилийского правительства – и, дочитав почти до конца, увидел, что подпись была коммунистической партии. «Тьфу! Стоило приезжать!..»

⁵³ «Нет, ни в коем случае!..» (фр.)

⁵⁴ «В тюрьму, бандиты!» (фр.)

На широкой улице открылась сиявшая разноцветными огнями кофейня. Закрытая терраса с жаровней – этого, кажется, тоже не было прежде: как умно! – была переполнена людьми. На стойке у входа в плетеных корзинах лежали груды устриц, раковин, каких-то морских чудовищ. «Clams», «Claire extra», «Armoricaïnes», «Oursins»⁵⁵, – читал Тамарин, и слова какие приятные! Он почувствовал аппетит, заглянул в вывешенную карту, и в глазах замелькало от разных «Sole au Chablis», «Rognon d'eau flambé a l'Armagnac», «Pied de Pore Ste Ménehould», «Faisan cocotte aux truffés»⁵⁶... Нерешительно посмотрел на цены: хорошо пообедать влетит франков в сорок, а то и в пятьдесят. Он мысленно подсчитал расходы за день: завтрак в вагоне-ресторане, носильщик, автомобили – много ушло денег. «Ну, да это первый день, дорога, можно и выйти из суточных».

Зашел в кофейню: дивно! Вероятно, если бы в прежние времена в Петербурге или Москве открылось подобное заведение, Тамарин пришел бы в ужас. Стены были трех оттенков желтого цвета, с неровными несимметричными зеркалами, с чем-то зеленым в нишах. Главная задача декоратора, очевидно, заключалась в том, чтобы никак нельзя было догадаться, откуда падает свет. Поэтому лампы тщательно скрывались, а там, где были видны, походили на тарелки для супа, на сосуды для проявления фотографий или на оранжевые крышки. Впрочем, наряду с этим прячущимся стыдливым светом вызывающе играли красными, фиолетовыми, зелеными огнями другие лампы в форме длинных стеклянных труб: эти, очевидно, единственной целью могли иметь порчу зрения людям. Вместо потолка был купол святого Петра. Кофейня была переполнена так, что едва можно было протолкаться. «Кажется, наверху есть места», – подумал Тамарин и стал подниматься по лестнице, каждая ступенька которой твердила непонятное слово: пергола⁵⁷, пергола, пергола... «Ну ладно, слышал, что пергола», – примирительно подумал он и занял место у перил открывавшегося в первый этаж провала.

Лакей в белой куртке подбежал к столику: сбоку вспыхнули две параллельно насаженные на вертикальный стержень суповые тарелки и, мило выделяясь, зажглась на столике маленькая лампочка под абажуром, ни за что другое себя не выдававшая. «Ах, как хорошо!» – подумал Тамарин: в этой смиренной, не притворявшейся лампочке была особая прелесть. Подбежала дико разодетая женщина – не то албанка, не то мексиканка – и отобрала у него пальто и шляпу. Подбежал мальчик в зеленом мундире и предложил газеты. Подошел более солидный, чрезвычайно предупредительный человек в обыкновенном черном костюме, отодвинул стол и подал две карты. Место было не очень удобное: у стойки – «ничего, отлично»... Дама, обедавшая с молодым человеком за соседним столиком, бегло окинула взглядом Тамарина. «Хорошенькая...»

Он заглянул вниз, в провал. «Господи! Ни одного свободного места! А говорят, гибнут от кризиса. Нет, кажется, капитализм еще поживет... Прежде все-таки было элегантнее... Хорошеньких у нас, пожалуй, больше, но где уж! не та культура!...» Дамы все были в мехах. «У которой одна чернобурая лисица, у которой две. Это у них, как у комдива два ромба, а у комкора три... А вот эта целый командарм: пелерина из лисиц! четыре ромба!...» Ему было весело. Все вызывало у него восхищение: дамы, буржуазная культура, фрески, изображавшие голых женщин со змеями, – что ж, кто знает, может, и это очень хорошо? – омары, ярким нагло-красивым пятном выделявшиеся на низком белоснежном столике, и то, что на стойке рядом с ним одних сортов горчицы было не менее десяти, и то, что соседям подавали блюда, горевшие бледно-синим пламенем, и то, что у них на столе одна бутылка стояла в ведерке, а другая лежала в продолговатой корзине.

⁵⁵ «Морские моллюски», «Устрицы экстра», «Омары по-арморикански», «Морские ежи» (фр.).

⁵⁶ «Копыта в шабли», «Почка телянка, вымоченная в арманьяке», «Нога поросенка по св. Менеульд», «Фазан с трюфелями» (фр.).

⁵⁷ Беседка, увитая зеленью (итал. pergola).

Обед он заказал не гастрономический, хоть когда-то знал толк в еде. От непривычки разбегались глаза. Вина спросил лишь полбутылки, с неизвестным ему названием: шавиньоль. Никогда не пил много. Вино было хорошее, а еда – коктейль из устриц, какой-то *Navarin de Homard*, почки – была прямо превосходна: двадцать лет так не обедал! Тамарин не голодал в последнее время и в Москве, «но разве там теперь знают эти блюда и эти слова? От одних названий появляется аппетит. Право, почти как у Донона или в «Праге» когда-то...». Заиграла музыка: попури из «Кармен». Тамарин засмеялся от радости, услышав знакомые с детства мелодии. Он пожалел, что не спросил хереса: «Папа, Царство Небесное, всегда пил херес как столовое вино... Но в Париже надо пить французские вина...»

На арии тореадора настроение у него изменилось. Вокруг него люди, кто как умел, подпевали оркестру – точно все гордились, что знают эту арию, – и все с необычайной энергией, раскачиваясь, пели одно слово: «Тор-ре-адо-ор»... Почему-то Тамарин опять вспомнил о встрече с дипломатом на берлинском вокзале: это воспоминание неприятно беспокоило его всю дорогу. Вспомнил бал у *чарующего любезностью* Вильгельма, охоту в каком-то замке с трудным названием, подумал об артистке, с которой когда-то познакомил его этот дипломат: с ней весело прошло несколько месяцев. Это было тридцать пять лет тому назад, нет, больше: тридцать семь или тридцать восемь.

Потом мысли его перешли к жене: их брак был несчастлив, главным образом по его вине, – а тогда ему казалось, будто он кругом прав. «Так и не поняли друг друга до конца... Яковлев отлично это пел, лучше всех тореадоров, мы с ней были на его бенефисе». Он с совершенной ясностью вспомнил тот вечер, зал Мариинского театра, неприятный разговор на извозчике, потом нелепую, начавшуюся с игры Фигнера, тяжелую ссору. «Я ей сказал... Нет, незачем вспоминать...» Оркестр заиграл увертюру четвертого действия. Молодой человек за соседним столом потушил лампочку и снова зажег ее по требованию дамы, ударившей его по руке. «Такая лампочка у нас стояла на пианино, в диванной...» Вспомнил во всех подробностях эту небольшую комнату, оклеенную коричневыми, под кожу, обоями, лампу на кружевной салфеточке: «Больше всего на свете боялись поцарапать лак на пианино!.. В диванной и произошла та ссора. Хотел разойтись, развестись. Она грозила покончить с собой... Стоило ли ссориться? Где она теперь? Кроме меня, и не помнит никто, а когда и я умру, то не останется ничего, вот как от салфеточки, от тех коричневых обоев или от съеденного коктейля из устриц...»

Ему стало страшно. В этой кофейне, где собралось несколько сот весело настроенных людей, он внезапно почувствовал себя как в пустыне: никого, ничего, ни души! Командарм второго ранга на службе у мировой социалистической революции... Пергола, пергола, пергола... Как же это случилось? Как все это могло быть? Зачем был этот вздор? Не только этот, а *весь* вздор? Почему так странно сложилась жизнь, теперь уже, верно, подходящая к концу? Все «пергола»... «Та-ра, тара», – подпевала первой фразе увертюры много выпившая дама. Он хотел было встать и уйти, но подумал, что с этими мыслями никогда не заснет на новом месте: от них и в Москве, дома, где стены помогают, спасала только работа, упорная работа. «Что же делать? – думал он, с трудом справляясь с дыханием. – Зачем было все это? Да, поцарапали лак на пианино...» Музыка оборвалась, послышались рукоплескания, снизу поднялся гул голосов, как будто все себя вознаграждали за отнятое у болтовни время. «Я люблю только хорошую музыку, – говорил молодой человек, – а если кто играет плохо, то лучше бы не играл совсем... Я сам играю очень хорошо, правда?» – «Ну да, конечно... Вы стали нахалом, Жюль», – отвечала, заливаясь смехом, дама.

IX

Револьвер был очень хороший: пятизарядный, с темной сетчатой рукояткой, с предохранителем, с мушкой в виде полумесяца. «Браунинг» стоил бы слишком дорого, да и не со ста шагов стрелять. Названия у револьвера, к сожалению, не было, – звучные, приятно-двойные названия оружейных фирм радуют слух: «Форе-Лепаж», «Веблей энд Скотт», «Холлэнд энд Холлэнд». Об этом револьвере приказчик уклончиво сказал: «*Tuna* «смит-и-вессон», бельгийской работы, отличного качества, вы будете очень довольны, местье». Альвера был в самом деле доволен. Бельгийский револьвер кармана не оттопыривал. По пути из Парижа в Лувесьен никто на карман никакого внимания не обращал. Лес под вечер был пуст. «В самом деле, воздух чудесный. Это *они* отлично придумали: жить под Парижем в деревне, в своих виллах... Если я стану богат, может быть, сделаю то же самое...» Он с любопытством смотрел на все вокруг себя: за всю жизнь был в лесу не более трех или четырех раз – в свое время на школьных экскурсиях. Деревьев он не знал и не различал. «Кажется, это дуб. А может быть, клен или орех? Следовало бы – когда-нибудь позднее – пополнить свое образование в этой области и вообще пройти систематический курс естествознания. Вот тогда и сделаю это, когда куплю тут виллу...» Он подумал, что было бы, как *они* говорят, «цинично» купить виллу в той самой деревне, где он собирался совершить убийство. «Собственно, «цинично» также и учиться в этой деревне стрельбе. Но если *они* это считают циничным, то тем больше оснований именно так и поступать».

Альвера оглянулся: никого. За четверть часа ходьбы по лесу он ни одной живой души не встретил. Все же свернул в чащу, прошел еще шагов сто – никого! – и стал выбирать дерево. Не было, впрочем, причины предпочесть одно дерево другому. Выбрал *дуб* потолще (окончательно остановился на том, что все это дубы) и тут только вспомнил, что нет мишени. «Во что же стрелять? Ах, какая досада!...» Он стал рыться в карманах, надо бы найти что-либо цветное, яркое, но, кроме бумажника и *carte d'identité*⁵⁸, – не стрелять же в нее, – не оказалось ничего.

Во внутреннем кармане пальто была книга «Преступление и наказание». Книга эта тоже была взята нарочно; назло *и.м.* Вырывать листок не хотелось: он любил книги. Желтоватая обложка едва ли могла послужить хорошей мишенью, белое будет выделяться лучше. Книга раскрылась на странице с заложенным углом: «*Raskolnikov se laissa tomber sur la chaise mais ne quitta pas des yeux le visage d'Ilya Petrovitch qui semblait fort désagréablement surpris. Tous deux pendant une minute s'entre-regardèrent et attendirent. On apporta de l'eau. – C'est moi... – commença Raskolnikov. – Buvez une gorgée. Raskolnikov repoussa d'une main le verre et doucement, avec des pauses et des reprises, mais distinctement il prononça: – C'est moi qui ai assassiné a coups de hache la vieille prêteuse sur gages, et se sœur Elisabeth et qui les ai volées...*»⁵⁹

На полях у этих строк было написано: «Un fameux cretin, celui-là!» Это место книги всегда его веселило. «Да, совершенный кретин!» – подумал он, разумея и русского автора, и кающегося студента. Подумал также, что надпись на полях может быть уликой, и вырвал страницу. Конец тома, с оглавлением, с объявлениями о других книгах, был не разрезан. Альвера рассеянно разодрал пальцем верх, с неудовольствием взглянул на образовавшиеся зазубрины и старательно выровнял, оторвав треугольнички. Подошел к *дубу*, попытался прикрепить листок к стволу приблизительно на уровне головы, нацепил было на отступающий край коры – ветерок тотчас сорвал бумажку. Выругавшись, Альвера достал узенький костяной пятифранковый

⁵⁸ Удостоверение личности (*фр.*).

⁵⁹ «Раскольников опустил на стул, но не спускал глаз с лица весьма неприятно удивленного Ильи Петровича. Оба минуту смотрели друг на друга и ждали. Принесли воды. – Это я... – начал было Раскольников. – Выпейте воды. Раскольников отвел рукой воду и тихо, с расстановками, но внятно проговорил: – Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором и ограбил...» (*фр.*) – Ф.М. Достоевский. Собр. соч. в 12 т., М., 1982, т. 5, с. 516–517.

ножик и с трудом, морщась – всегда боялся сломать ноготь, – поднял единственное лезвие. Затем приложил листок к стволу и сильным ударом всадил нож через бумагу в дерево. Листок повис, только края немного загибались от ветерка. В этом *сильном ударе* ножа было нечто приятное, решительное, гюстав-эмаровское. Он подумал, что в нем еще сидит мальчишка, и усмехнулся. На листке следовало сделать черный кружок. Альвера полез в боковой карман за самопишущим пером и с досадой заметил, что оно – тоже дешевенькое и дрянное – свалилось со стерженьком с борта в глубь кармана. Опять в крышке будут чернила, пальцы измажутся, скверно... Действительно, весь конец ручки над крошечным, поддельного золота пером был в чернилах. Старательно взяв ручку повыше, он постарался начертить кружок, бумага не приставала к коре, чернила на поднятом пере не выступали. Встряхнул – последняя капля чернил сорвалась, резервуар был пуст, – раздраженно снял листок, потер его серединой о конец пера, затем снова вонзил перочинный нож. Но на этот раз решительный удар не удался, лезвие захлопнулось, чуть царапнув руку. Он испуганно выронил ножик – нет, крови нет. Кое-как, уже без удара, Альвера прикрепил к дереву листок с размазавшимся в середине чернильным пятном. Затем старательно, как указывал приказчик, зарядил револьвер; патроны он вез отдельно: зачем рисковать в вагоне несчастным случаем?

Несколько раз передвинул вверх и вниз предохранитель. Не помнил твердо, в каком случае предохранитель действует: если кнопка наверху или если она внизу? «Кажется, если наверху. Но надо проверить...» Разрядил, попробовал и опять зарядил: теперь механизм револьвера был ясен. Альвера старательно отмерил пять шагов – в этом тоже было нечто приятное: не гюстав-эмаровское, а дуэльное.

Оглянулся в последний раз – по-прежнему никого, – отставил назад левую ногу, чуть согнув колено, – говорят, отдача бывает сильна, – вытянул руку с револьвером, прищурил глаз, прицелился – мушка, чернильное пятно, все так – и выстрелил. Звук выстрела оказался гораздо слабее, чем он ожидал, а отдачи почти никакой, даже не заметил. Опять оглянулся, сунул в карман револьвер и подошел к дереву. К его разочарованию, дыры не было не только на чернильном пятне, но и в листке.

Снова отмерил расстояние, сделал шаги поменьше – а все-таки пять шагов, – и с неприятным чувством заметил, что, не переводя предохранителя, опустил в карман заряженный револьвер: это свидетельствовало о недостатке хладнокровия. «Надо взять себя в руки, – сказал он вслух и подумал, что очень трудно понять сущность того волевого усилия, которое обычно так называется. – Ну, вот я взял себя в руки, я теперь не таков, каким был только что: я себе сказал, что *ничто* не страшно: в любую минуту я могу покончить с собой, полминуты мучения, и все кончено, значит, бояться нечего. Об этой жизни, что ли, жалеть или о *них*?» Он снова стал стрелять, теперь действительно спокойнее и лучше. Всего выпустил десять пуль (в коробочке было двадцать пять патронов), из них три попали в листок: две с краю, третья почти у чернильного пятна. Результат его удовлетворил. Главное – пока приучить себя к стрельбе и к обращению с оружием.

Выполнив то, что было назначено на сегодня, он с облегчением положил револьвер в карман пиджака, сунул книгу в карман пальто и наткнулся на скомканную бумажку. «Ах, какая досада!...» Этот испорченный им лист из переписанной рукописи заказчика он по ошибке сложил было дома с другими, а в поезде, заметив ошибку, сунул во внутренний карман пальто. «Досадно, что не вспомнил: мишень была бы гораздо лучше, не требовалось вырывать страницу из книги...»

Альвера вернулся на большую дорогу и пошел по направлению к вокзалу. «Да, все дело лишь в том, чтобы придать убийству совершенно привычную форму. Надо выработать привычку к стрельбе, но этого, разумеется, недостаточно... Хорошо было бы для опыта застрелить собаку. Ощущение должно быть, в сущности, почти такое же, и главное отличие относится на счет страха гильотины. Убить человека очень просто: при некоторой привычке убивать

можно так, как мясник убивает вола, без дешевеньких рассуждений, без Наполеона, без чьих-то открытий. У средневековых головорезов была такая привычка, и они отлично обходились без всякой философии. У какого-нибудь дюссельдорфского вампира привычка, вероятно, под конец выработалась, но там был сексуальный мотив, а это гадко и непонятно: такие люди – личная неприятность богословам со стороны природы».

Лес кончился, появились, стали учащаться дома. Встретившаяся женщина посмотрела на Альвера, оглянулась и ускорила шаги. Он шел, с любопытством читая названия вилл, надписи, афиши. Два льва в кружочке стояли на задних лапах над перекрещенными ключами, с надписью: «La Vigie mobile. Propriété gardée»⁶⁰, подумал, выгодное ли это дело и как это общество осуществляет надзор, еще не попались бы тогда его люди? Черная стрелка указывала дорогу в мэрию и церковь. В прямоугольнике, с вписанными в него желтым и черными треугольниками, – «как глупо и некрасиво!» – две девочки шли, взявшись за руки, – «довольно противные девчонки, никакой беды не будет, если их раздавят». Вдали как раз показался автомобиль. Альвера медленно шел ему навстречу и свернул только шагах в пяти; сидевший за рулем человек прокричал что-то нелюбезное. «Как странно, что мы обычно чувствуем себя в безопасности: одно неверное движение у этого кретина, мгновение невнимания, лишняя рюмка коньяку за его завтраком – и меня нет. Значит, каждый парижанин зависит от миллиона таких случайностей, в Париже шоферов тысячи. Значит, вероятность гибели для каждого не намного меньше, чем у меня... Значит...» Ему надоели эти вечные, нудные размышления. «Хочешь убить – убей, но не морочь голову», – сказал он сам себе. Затем его рассмешила надпись на заборе: «Défense de déposer et faire des Ordures sous peine demande»⁶¹. Особенно смешно было, что слово «Ordures» напечатано с прописной буквы. Он рассеянно посмотрел на часы: до поезда оставалось восемнадцать минут – его часы на четыре минуты отставали. Рано.

От перекрестка шла тропинка к той вилле. Он хотел было подойти к ней и раздумал: в смысле тренировки это ничего не даст, и есть некоторый риск – вдруг встретишь этого кретина. «Он удивленно взглянет и скажет: «Как? Вы еще не уехали?» Тогда надо будет сказать, что я забыл, на какой странице кончил переписку, и не знаю, какую ставить на продолжении. Это произведет на него благоприятное впечатление. Может быть, он даже растрогается и заплатит мне за пробелы. «За белые строки я, молодой человек, никогда из принципа не плачу: что не стоит труда, не должно и оплачиваться». За бумагу он, вероятно, тоже из принципа не платит и за мой проезд и потраченное время не заплатил, точно я обязан привозить ему работу в Лувесьен. «Вы могли послать ее мне по почте, молодой человек», – сказал он голосом заказчика, хоть заказчик этих слов не говорил: о потраченном времени речи не было. «Я не мог сказать ему, что приехал на разведку, так как собираюсь его убить, – почти весело подумал он. – В случае, если поймают, я скажу, что убил его за неоплаченные белые строчки: это будет доказательством «морального идиотизма», на суде очень хорошо быть моральным идиотом...» Потом он лениво подумал о Жаклин: очень милая девочка.

Вдали просвистел паровоз, Альвера ахнул: «Опоздал! теперь ждать полчаса! – взглянул на часы, нет, до его поезда было еще минут двенадцать. – Это, вероятно, встречный поезд...»

Остановился перед большой белой афишей с зеленой каймой с изображением зеленого юноши и зеленой девушки необыкновенно бодрого вида. Какое-то гимнастическое общество приглашало молодых людей записываться: «Pour une jeunesse saine, forte, joyeuse le sport c'est la joie et la santé...»⁶² Но если они веселы и здоровы, то зачем же им еще веселье и здоровье? Какие кретины! «...La fédération sportive et gymnique du travail vous accueillera dans un de ses

⁶⁰ «Подвижный надзор. Охраняемая собственность» (фр.).

⁶¹ «Запрещается сорить, сваливать мусор. За нарушение штраф» (фр.).

⁶² «Для здоровой, крепкой, веселой молодежи спорт – это радость и здоровье...» (фр.).

clubs...»⁶³. «Что такое «gymnique»? Я не знал, что есть такое слово... Собственно, они и меня приглашают, это я jeunesse saine, forte, joyeuse!...» Он опять засмеялся, прочел всю афишу до конца, прочел и об условиях приема, и о членских взносах. Кандидатам в возрасте до 18 лет предлагалась скидка. «Жаль, я не подхожу: мне двадцать первый...» Подумал, что там тоже по возрасту скидки не будет. Ему было вполне точно известно, кто по закону считается малолетним, кто несовершеннолетним. «В двадцать – отправят на гильотину очень просто...»

Он радостно представил себе, как остолбенеет Вермандуа, прочитав в газете об убийстве: «Его секретарь! Господи, *его* секретарь – и такое дело!...» «Особенно он будет в ужасе от того, что надо будет давать показания, сначала следователю, потом на суде: какая скука, какая потеря времени! А журналисты! Ведь они явятся за интервью, набросятся, как коршуны, им за это платят франк за строчку: одно хорошее, приличное убийство – и можно жить припеваючи две недели! Впрочем, интервью, даже по такому делу, это тоже реклама, а плохой рекламы нет... Потом ему придет в голову, что ведь я с такой же легкостью мог бы убить его самого, он затрясется, вспотеет и похолодеет от ужаса. И я в самом деле мог бы убить этого пошлого маньяка. Но тогда на меня сразу пали бы подозрения: я единственный бедный человек, бывающий в его доме: Вермандуа коммунист или что-то в этом роде, но бедных знакомых он терпеть не может. Притом убийцу великого писателя полиция разыскивала бы получше. Зато если убить его, то можно надеяться на место в истории литературы. Кажется, такого случая не было? Да и ему, собственно, только это и могло бы обеспечить славу: его нынешнее бессмертие будет продолжаться ровно год, до приема в Академию его преемника. И сейчас уже никто его не читает: он уже, слава богу, тридцать лет «*cher maître*». Но когда он немного успокоится, то проявит великодушие и даже подыщет мне защитника, среднего, не очень дорогого. Впрочем, по его приглашению пойдет бесплатно и самый дорогой, им тоже нужна реклама... Быть может, он даже раз навестит меня в тюрьме и принесет четверть фунта ветчины... Нет, в тюрьму он не пойдет, скучно. Но на суд явится непременно и произнесет слезливое слово – что-нибудь о современной молодежи, о потере идеалов. Каждая газета напечатает строк по двадцать, этим тоже пренебрегать нельзя: будет «*le grand écrivain*», «*le célèbre écrivain*», «*l'illustre écrivain*»⁶⁴. Присяжные растроганно его выслушают, затем вынесут вердикт без смягчающих обстоятельств, прежде всего потому, что кража, я мог, значит, обокрасть и их, и еще потому, что я «*sale étranger*», «*un de ces étrangers indésirables qui viennent chez nous et qui...*»⁶⁵.

До поезда оставалось семь минут: все-таки рано! Альвера остановился перед другой афишей, старой, полуистлевшей. Местный отдел коммунистической партии приглашал всех явиться на митинг: «*Pour (далее было стерто)...liberté! Pour ...blique des Soviets en France!*»⁶⁶ Альвера прочел афишу с отвращением: он терпеть не мог коммунистов.

Показался невысокий желто-серый вокзал. Через площадь поспешно проходили люди. «В толпе никто заметить не может... Хоть нечего замечать, да пока и ни к чему... Смотрите сколько вам угодно...» Билета никто не спросил: контроля у входа не было. «Хороши порядки!...» Стал соображать, может ли при таких условиях недобросовестный пассажир обмануть железнодорожное ведомство. «В Париже при выходе спросят билет, но ведь я мог бы выйти из поезда на последней станции перед Парижем и купить там, так обошлось бы значительно дешевле. Неужели они об этом не подумали? Этакие кретины!»

Он прошелся по перрону, все с тем же напряженным любопытством читая надписи. «Электрический рельс на пути заряжен...» «Да, ведь дорога электрическая. Если стать ногой на эту штуку, а другой на тот рельс, то конец. Легкий? Тот же электрический стул... На долю

⁶³ «...Федерация спорта и оздоровительной гимнастики примет вас в один из своих клубов...» (фр.)

⁶⁴ «Крупный писатель», «известный писатель», «знаменитый писатель» (фр.).

⁶⁵ «Грязный иностранец», «один из этих нежелательных иностранцев, которые приезжают к нам и которые...» (фр.).

⁶⁶ «За (...) свободу! За ...блику Советов во Франции!» (фр.)

ни в чем не виновных людей очень часто выпадает худшая насильственная смерть, чем на долю так называемых преступников...» Он задумался, что хуже: электрический стул или гильотина? «В Синг-Синге, говорят, это длится несколько минут. Но когда падает, например, аэроплан, летчики тоже горят минуты две-три. А от какого-нибудь рака языка люди в мучениях умирают годами...» Ему вспомнилось что-то неприятное: «Да, да, *le k ratite interstitiel, l'h patite diffuse, les convulsions  pileptiformes, le retr cissement mitral...*»⁶⁷ «Верно, и этот выродок с тиком, без моей помощи, умер бы от какой-либо гнусной мучительной болезни... Если будет погоня, можно будет вскочить на этот рельс. И тогда любезно протянуть им руку, пусть одним мерзавцем будет на свете меньше».

Нервно зевая, он прошел до конца перрона, повернул назад, остановился перед огромным градусником, наверху которого красный и белый человечки с необыкновенно веселым видом несли какую-то бутылку. «Сен-Рафа ль К нкина». «Кажется, никогда не пил или, по крайней мере, не помню вкуса... Вообще мало пил: *Jeunesse saine, joyeuse...*» – какое было третье слово?» Но третьего слова, к своему беспокойству, вспомнить не мог.

Вдали пропел петух. Альвера чрезвычайно удивился. Ему казалось, что петухи поют только на рассвете. Лишь теперь он заметил, что все это селение, Лувес ен, утопало в зелени. По обе стороны сквозного вокзала видны были высокие деревья, гряды цветов, цветы. «Да, красивое место... После дела можно было бы, пожалуй, тут купить виллу и поселиться... Можно было бы даже купить эту самую виллу, она, верно, будет продаваться с аукциона. Было бы забавно, и окончательно рассеяло бы подозрения: какой же убийца купит дом, где «его будет посещать кровавый призрак»? Надо будет подать эту мысль адвокату. А Вермандуа, если он навестит меня в тюрьме, я скажу, что убил назло Достоевскому. Он будет в восторге и вставит в свой роман обо мне, какой блестящий парадокс: романы великого славянского моралиста только способствуют развитию преступности среди этих несчастных детей!»

Проходивший по перрону пассажир с любопытством посмотрел на невысокого, худого, безобразного юношу, на лице у которого повисло напряженное выражение страдания и ужаса, точно с ним только что случилось большое несчастье. «Он так может и назвать роман: «Преступление в Лувес ене»... Нет, для него это слишком бульварное заглавие, роман будет психологический, с блестящими парадоксами и с авансом в тридцать тысяч франков. Вот бы ему сказать: *D fense de faire des ordures...*»⁶⁸ Он засмеялся. Вдали показался небольшой, странно медленно шедший зеленый поезд. Альвера удивился, что нет ни дыма, ни локомотива, опять вспомнил, что дорога электрическая – «ведь только что об этом думал», – тяжело вздохнул и занял место в вагоне второго класса. «Так они это называют в насмешку над нами, на самом деле это четвертый класс. Они нарочно сделали здесь все как можно более неудобным и неприятным: нужно ведь наказать человека за то, что у него нет денег на более дорогой билет...»

⁶⁷ «...Воспаление роговой оболочки глаза, диффузный гепатит, эпилептические конвульсии, митральный стеноз...» (*фр.*)

⁶⁸ «Запрещается сваливать мусор» (*фр.*).

X

Когда поезд пришел в Париж, было уже почти совсем темно. Альвера рассеянно направился к выходу. На этот раз билет спросили. «Нет, вероятно, обмануть этих бандитов трудно. Вся их жизнь построена на рутине – если б и рутина была негодной, они не могли бы существовать». На улицах горели фонари. Последние лавки закрывались. Он ускорил шаги: дома никакой еды нет, кроме масла и оставшихся со вчерашнего дня трех – нет, двух – яиц. В его квартале съестные припасы стоили несколько дешевле, но ехать было далеко, надо все купить тотчас. Сосчитал мысленно свои деньги, когда выходил из дому, было пятьдесят пять франков, восемьдесят четыре получено за работу, на билет в оба конца истрачено восемь, и куплены билетики в автобус: шесть. Итого, должно быть сто двадцать пять. Опустив руку в карман – опять упало самопишущее перо, – не нашел сразу стофранковой ассигнации и похолодел от ужаса. «Ах, нет, вот она! слава богу!..» Мелочь тоже оказалась в целости, счет был верен. «Послезавтра получу у Вермандуа двести. Хватит...»

Свернув в боковую улицу, он остановился у лавки мясника. У дверей висела огромная окровавленная туша. Можно было купить за три франка бифштекс и дома зажарить. Но вид крови показался ему необыкновенно противным. Из двери вышел с палкой, напоминающей вилы, мясник, почти столь же окровавленный, как туша, и у него на глазах закрыл лавку с видом несколько демонстративным, точно знал, что этот покупатель спросит именно один бифштекс: обойдусь и без твоих трех франков. Альвера купил в соседней лавке ветчины. «На три франка, нарезанной. И колбасы, на два франка, без чесноку». Продавщица нарезала колбасу, как будто с демонстративным нетерпением, может быть, тоже для того, чтобы показать пренебрежение. Он следил за движением огромного ножа и думал, что у палача, вероятно, движения столь же ровны, ловки, привычны. «А эта ветчинная гильотина напоминает ту, настоящую...» Купил еще сыру и два яблока с приятным сознанием, что не отпустит дерзкую продавщицу, пока всего не получит: теперь *их* закон действовал за него и против продавщицы. Расплачиваясь, тоже с приятным чувством подумал, что не вышел из бюджета ни на грош.

У лавки находилась стоянка автобуса, того самого, который был ему нужен. В автобусе оказалось свободным его излюбленное место: у окна, на скамейке отделения для двух пассажиров. Это было еще приятнее. Он положил на колени кульки, уперся в стену и устало откинулся на спинку. Соседка сзади, шляпу которой он задел, что-то пробормотала. Рядом с ним села какая-то дама, он не обратил на нее внимания, не почувствовал прикосновения ее тела, и только, когда она встала у моста, заметил, что она была молода и недурна собой, – сам удивился своей нечувствительности. «Однако, Жаклин...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.